

ПАМЯТНИКИ ЛИТЕРАТУРЫ

АНДРЕЙ
ПЛАТОНОВ

ВПРОК
(БЕДНЯЦКАЯ ХРОНИКА)



IM WERDEN VERLAG
МОСКВА - AUGSBURG 2003

Текст печатается по изданию: «Трудные повести», 30-е годы. Изд-во: «Молодая гвардия», Москва, 1992.

© «Im Werden Verlag». OCR и вычитка: Александр Белоусенко. 2003

<http://www.imwerden.de>
info@imwerden.de

В марте месяце 1930 года некий душевный бедняк, измученный заботой за всеобщую действительность, сел в поезд дальнего следования на московском Казанском вокзале и выбыл прочь из верховного руководящего города.

Кто был этот только что выехавший человек, который в дальнейшем будет свидетелем героических, трогательных и печальных событий? Он не имел чудовищного, в смысле размеров и силы, сердца и резкого, глубокого разума, способного прорывать колеблющуюся пленку явлений, чтобы овладеть их сущностью.

Путник сам сознавал, что сделан он из телячьего материала мелкого настороженного мужика, вышел из капитализма и не имел благодаря этому правильному сознанию ни эгоизма, ни самоуважения. Он походил на полевого паука, из которого вынута индивидуальная, хищная душа, когда это ветхое животное несется сквозь пространство лишь ветром, а не волей жизни. И, однако, были моменты времени в существовании этого человека, когда в нем вдруг дрожало сердце, и он со слезами на глазах, с искренностью и слабохарактерностью выступал на защиту партии и революции в глухих деревнях республики, где еще жил и косвенно ел бедноту кулак.

У такого странника по колхозной земле было одно драгоценное свойство, ради которого мы выбрали его глаза для наблюдения, именно: он способен был ошибиться, но не мог солгать и ко всему громадному обстоятельству социалистической революции относился настолько бережно и целомудренно, что всю жизнь не умел найти слов для изъяснения коммунизма в собственном уме. Но польза его для социализма была от этого не велика, а ничтожна, потому что сущность такого человека состояла, приблизительно говоря, из сахара, разведенного в моче, тогда как настоящий пролетарский человек должен иметь в своем составе серную кислоту, дабы он мог сжечь всю капиталистическую стерву, занимающую землю.

Если мы в дальнейшем называем путника как самого себя («я»), то это — для краткости речи, а не из признания, что безвольное созерцание важнее напряжения и борьбы. Наоборот, в наше время бредущий созерцатель — это, самое меньшее, полугад, поскольку он не прямой участник дела, создающего коммунизм. И далее — даже настоящим созерцателем, видящим истинные вещи, в наше время быть нельзя, находясь вне труда и строя пролетариата, ибо ценное наблюдение может произойти только из чувства кровной работы по устройству социализма.

Итак, этот человек поехал в отдаленные черноземные равнины, где у открытых водоемов стоят, обдуваемые ветром, глиносоломенные избы мелкоимущественных бедняков.

Езда в вагоне изменилась. Ранее в окно можно было наблюдать лишь пустынную страну, лишь разрозненность редких деревень, расположенных так робко и временно, будто они были сиротами в чужой земле и постоянно готовы исчезнуть. Некогда это были лишь постой бредущего народа, не верующего в свою местную судьбу, ожидающего, когда ему повелят стронуться дальше, где еще хуже.

Теперь же по бокам железной дороги строились различные пункты, предприятия, конторы, башни, а ярославские и амовские автомобили усердно возили материалы по губительной немощной земле. Люди стояли на кирпичных кладках и заботливо старались трудиться, уже навсегда осваивая эти порожние убыточные пространства.

На многие сотни километров строящаяся республика не меняла своего беспокойного лица, сияющего свежим тесом на вечернем солнце. Везде можно было видеть железные и кирпичные приспособления для деревенского общественного хозяйства или целые корпуса благотельных заводов.

— Сколько травы навсегда скроется, — сказал один добровольно живущий старичок, ехавший попутно со мной, — сколько угодий пропадет под кирпичной тяжестью!

— Порядочно, — ответил ему другой человек, имеющий среднее тамбовское лицо, может быть, житель бывшего Шацкого уезда. Он тоже пристально наблюдал всякое строительство в оконные стекла и шептал что-то с усмешкой гада, швыряя между тем какие-то кусочки из своего пищевого мешка в рот. Этот житель старой глухой земли не признавал, наверно, научного социализма, он бы охотно положил пятак в кружку сборщика на построение храма и вместо радио всю жизнь слушал бы благовест. Он верил, судя по покойному счастью на его лице, что древние вещества мира уничтожат революцию, — поэтому он глядел не только на новостроящуюся республику, но также на овраги, на могучие обнажения глины, на встречных нищих, на растущие деревья, на ветер на небе — на весь мертвый порожняк природы, потому что этого дела слишком много и оно, дескать, не может быть истреблено революцией, как она ни старайся. Ветхое лежачее вещество все равно, мол, задавит советский едкий поток своим навалом и прахом. Имея такое духовное предвидение, тамбовский человек скушал еще немного кое-чего и от внутренней покойной расположенности чувств вздохнул, как будущий праведник.

— Бывало, едет воз с молоком, — произнес попутный старичок, — телега вся скрипит, сам хозяин пешком идет, а на возу его баба разгнездилась. А теперь только холодный инвентарь перебрасывают!

— Тракторы горячие, а жизнь прохладная, — сказал тамбовский по лицу человек.

— Вот то-то и горе, — враз согласился старичок.

— Не горюйте, — посоветовал сверху неизвестный человек, лежавший там на голых досках. — Оставьте горе нам.

— Да как хочешь, я ничего! — испугался старичок.

— Да и я тоже ничего не говорил, — предупредил тамбовский житель.

— Бери молоко, — сказал верхний человек и опустил в красноармейской фляжке этот напиток. — Пей и не скули!

— Да мы сыты, кушай сам, ради бога, — отказался старичок.

— Пей, — говорит, — пока я не слез! Я же слышал, ты по молоку скучал.

Старичок в страхе попил молочка и передал фляжку тамбовцу — тот тоже напился.

Вскоре с верхней полки слез сам хозяин молока; он был в старом красноармейском обмундировании, доставшемся ему по демобилизации, и обладал молодым нежным лицом, хотя уже утомленным от ума и деятельности. Он сел на край лавки и закурил.

— Люди говорят, на табак скоро нехватка будет, — высказался старичок. — Семашка не велел больше желчное семя разводить, чтобы пролетариат жил чистым воздухом.

— На — закуривай! — дал бывший красноармеец папиросу старику.

— Я, товарищ, не занимаюсь.

— Кури, тебе говорят!

Старичок закурил из уваженья, не желая иметь опасности от встречного человека. Красноармеец заговорил со мной.

— С ними едешь?

— Нет, я один.

— А сам-то кто будешь?

— Электротехник.

— Ну, здравствуй, — обрадовался красноармеец и дал мне свою руку.

Я для него был полезный кадр, и сам тоже обрадовался, что я нужный человек.

— А ты утром не соскочишь со мной? Ты бы в нашем колхозе дорог был: у нас там солнце не горит.

— Соскочу, — ответил я.

— Постой, а куда ж ты тогда едешь?

— Да мне хоть некуда — где понадобится, там и выйду из вагона.

— Это хорошо, это нам полезно. А то все, понимаешь, заняты! Да еще смеются, гады, когда скажешь, что над нашим колхозом солнце не горит! А отчего ты не смеешься?

— А, может, мы зажжем ваше солнце? Там увидим — плакать или смеяться.

— Ну, раз ты так говоришь, то зажгем! — радостно воскликнул мой новый товарищ. — Хочешь, я за кипятком сбегаю? Сейчас Рязань будет.

— Мы вместе пойдем.

— Ты бы ярлык носил на картузе, что электротехник. А то я думал — ты подкулачник: у тебя вид скверный.

Утром мы сошли с ним на маленькой станции. Внутри станции был бедный пассажирский зал, от одного вида которого, от скуки и общей невзрачности у всякого человека заболел живот. По стенам висели роскошные плакаты, изображающие пароходы, самолеты и курьерские поезда, плакаты призывали к далеким благополучным путешествиям и показывали задумчивых, сытых женщин, любующихся синей волжской водой, а также обильной природой на берегах.

В этом пассажирском зале присутствовал единственный человек, жевавший хлеб из сумки.

— Сидишь? — спросил его дежурный по станции, возвращаясь от ушедшего поезда. — Когда ж ты тронешься? Уже третья неделя пошла, как ты приехал.

— Ай я тебе мешаю, что ль? — ответил этот оседлый пассажир. — Чего тебе надо? Пол я тебе мету, окна протираю; намедни ты заснул, а я депешу принял и вышел, без шапки постоял, пока поезд промчался. Я живу у тебя нормально.

Дежурный больше не обижал пожилого человека.

— Ну живи дальше. Я только боюсь, ты пробудешь здесь еще месяца четыре, а потом потребуешь штата.

— Штат мне не нужен, — отказался пассажир. — С документами скорее пропадешь, а без бумажки я всегда проживу на самую слабую статью, потому что обо мне ничего не известно.

Мой спутник, демобилизованный красноармеец товарищ Кондров остановился от такого разговора.

— Имей в виду, — сказал он дежурному, — ты работаешь, как стервец; теперь у меня будет забота о тебе.

С этим мы вышли на полевою колесную дорогу. Голая природа весны окружила нас, сопротивляясь ветром в лицо, но нам было это не трудно.

Через несколько часов пешеходной работы мы остановились у входных ворот деревни, устроенных в виде триумфальной дуги, на которых было написано: «С.-х. коллектив «Доброе начало». Сам колхоз расположился по склону большой балки, внизу же ее протекал ручей, работавший круглый год. Избы колхоза были обыкновенно деревенскими, всё имущественное оборудование было давним и знакомым, только люди показались мне неизвестными. Они ходили во множественном числе по всем местам деревни, шупали разные предметы, подвинчивали гайки на плугах, дельно ссорились и серьезно размышляли. Общим чувством всего населения колхоза была тревога и забота, и колхозники старались уменьшить свою тревогу перед севом рачительной подготовкой. Каждый считал для пользы дела другого дураком и поэтому проверял гайки на всех плугах, только своею собственной рукой. Я слышал краткие собеседования.

— Ты смотрел спицы на сеялках?

— Смотрел.

— Ну и что ж?

— Кои шатались, те починил.

— Починил? Знаю я, как ты починишь! Надел с утра рубаху-баян и ходит! Дай-ка я сам схожу — сызнава починю.

Тот, на котором была рубаха-баян (о сорока пуговицах, напоминающих кнопки гармонии), ничего не возразил, а лишь вздохнул, что никак не мог угодить на колхозных членов.

— Васък, ты бы сбежал лошадей посмотреть!

— А чего их глядеть? Я глядел: стоят, овес жуют, который день, аж салом подернулись.

— А ты все-таки сбегай их проведать!

— Да чего бегать-то, лысый человек? Чего зря колхозные ноги бить?

— Ну, так: поглядишь на их настроенье, прибежишь — скажешь.

— Вот дьявол жадный, — обиделся моложавый Васька. — Ведь я все кулачество по найму прошел, а так сроду не мотался.

— Чудак: у кулака было грабленное, а у нас кровное.

В конце концов Васька пошел все-таки глядеть на настроенье общественных лошадей.

— Граждане, — сказал подошедший человек с ведром олеонафта; из этого ведра он мазал все железные движущиеся и неподвижные части по колхозу, страшась, что они погибнут от ржави и трения. — Граждане, вчерашний день Серега опять сигарки с огнем швырял куда попало. Сообщаю это, а то будет пожар!

— Брешешь, смазчик, — возразил присутствовавший здесь же громадный Серега. — Я их заплевывал.

— Заплевывал, да мимо, — спорил смазчик, — а огонь сухим улетал.

— Ну ладно, будет зудеть, — смирился Серега. — Ты сам ходишь олеонафтом наземь капаешь, а он ведь на общие средства куплен.

— Граждане, он нагло и по-кулацки врет. Пускай хоть одну каплю где-нибудь сыщет. Что он меня мучает!

— Будя вам, — сказал Кондров, — не пересобачивайте общие заботы. Ты, Серега, кури скромней, а ты — капать капай, — колхозу капля не ужасна, а вот мажь — где нужно, а не где сухо. Зачем ты шины-то на телегах мажешь?

— Ржави боюсь, товарищ Кондров, — ответил смазчик. — Я прочитал, что ржавь — это тихий огонь, а товарищ Куйбышев по радио говорил — у нас голод на железо: я и скуплюсь на него.

— Соображай до конца, — объяснил смазчику Кондров, — олеонафт тоже железными машинами добывается. А раз ты зря его тратишь, то в Баку машины напрасно идут.

— Ну? — испугался смазчик и сел в удивлении на свое ведро: он думал, что олеонафт — это просто себе густая жидкость.

— Петька, — сказал малому лысый мужичок, тот, что усладил Ваську к лошадям. — Пойди, ради бога, все избы обежи — пускай бабы вьюшки закроют, а то тепло улетучится.

— Да теперь не холодно, — сообщил Серега.

— Все равно: пусть бабы привыкают беречь сгоревшее добро, им эта наука на зиму годится.

Петька безмолвно побежал приказывать бабам про вьюшки.

— Слухай, дядя Семен! Ты чего ж вчера сено от моей кобылы отложил, а к своему мерину подсунул? Ишь ты, средний дьявол какой, — знать, колхоз тебе не по диаметру!

Дядя Семен стоял, помутившись лицом.

— Привык к мерину, — сказал он, — впоследствии войду — он сопит на меня и глазами моргает, а кругом норма — скотину нечем поласкать, вот и положил твое сено.

— А ты теперь к человеку привыкай, тогда тебя все меренья уважать будут!..

— Буду привыкать, — грустно пообещал дядя Семен.

— Не то пойти крышку на колодезь сделать? — произнес Серега, стоявший без занятия.

— Пойди, дорогой, пойди. С малолетства с мелкими животными воду пьем. Может, при хорошей воде харчей есть меньше станем.

Отошедши с Кондровым в глубь колхоза, я обнаружил, что вправо от деревни, на незасеянной высоте склона стоит новая деревянная каланча, метров в десять-двенадцать. Наверху каланчи блестящее жестяное устройство, бывшее, судя по форме, рефлектором; причем оно было поставлено так, что должно направлять лучи неизвестного источника света целиком в сторону колхоза.

— Вон наше солнце, которое не горит, — сказал мне Кондров, указав на каланчу. — Ты есть хочешь?

— Хочу. А у вас есть запасы?

— Хватит. Прошлый год осень была большевицкая — все родилось.

Поев разного добра в попутной избе, в которой висела электрическая лампочка, мы пошли с Кондровым не на каланчу, а к ручью. На ручье, около кустарной запруды, помещался дубовый амбар с сильным мельничным пошвенным колесом; запруда служила, очевидно, для сбора запаса воды.

— Наливное колесо у вас работало бы полезней! — сказал я.

— Ну что ж, ты только скажи, как нужно сделать, а мы будем его делать, — ответил мне Кондров.

Мне стало печально и тревожно близ такого человека: ведь он за маленькое знание отдаст что угодно; а с другой стороны, его всякая вредительская стерва может легко обмануть и повести на гибель, доказав предварительно, что она знает в своей голове алгебру и механику.

Кондров отомкнул амбар. Никакой мельницы в амбаре не было, там стояла небольшая динамо-машина, и больше ничего. На валу водяного колеса имелся деревянный шкив, с которого посредством ремня снималась сила на динамо-машину. Обследование установило, что водяное колесо способно было дать через динамо-машину мощность, достаточную, чтобы в колхозе горело двадцать тысяч экономических электрических свечей, или сорок тысяч тех же свечей в полуваттных лампах. При переделке водяного колеса с пошвенного на наливное мощность всей установки можно было повысить по крайней мере на одну треть; динамо-машина же была рассчитана на сорок лошадиных сил и могла терпеть много нагрузки.

— А наше солнце, понимаешь, не горит! — горестно проговорил надо мною Кондров. — Оно потухло.

Провода из амбара тянулись по раkitам, по плетням, по стенам изб и, ответвляясь на попутный колхоз, отправлялись к солнцу. Мы тоже пошли на солнце. Провода всюду были достаточно исправны, на самом солнце я тоже не мог заметить чего-либо порочного. Особенно меня удовлетворил жестяной рефлектор: его отражающие поверхности имели такую хорошо сосчитанную кривизну, что всю светосилу отправляли ровно на колхоз и на его огородные уголья, ничего не упуская вверх или в бесполезные стороны. Источник света представлял из себя деревянный диск, на котором было укреплено сто стосвечных полуваттных ламп, то есть общая светлая мощность солнца равнялась десяти тысячам свечей. Кондров говорил, что этого все же мало — немедленно нужно добиться света по крайней мере в сорок тысяч свечей; особенно удобен был бы, конечно, прожектор, но его невозможно приобрести.

— Сейчас я схожу пушу колесо и динамо, и ты увидишь, что наше солнце не горит! — огорченно сказал мне Кондров.

Он сходил и пустил — и солнце действительно не загорелось. Я стоял на каланче в недоумении. Ток в главных проводах был, колхозники собрались под каланчой и обсуждали доносившийся до меня вопрос.

— Власть у нас вся научная, а солнце не светит!

— Вредительство, пожалуй что!

— Сколько строили, думали — у нас пасмурности не будет, букеты распустятся, а оно стоит холодное!

— Это же горе! Как встанешь, глянешь, что оно не светит, так и загорюешь весь от головы вниз!

— Вон старики наши перестали верить в бога, а как солнце не загорелось, то они опять начали креститься.

— Дедушка Павлик обещал ликвидировать бога как веру, если огонь вспыхнет на каланче.

Он тогда в электричество как в бога обещал поверить.

— А горело это солнце хоть раз? — спросил я у народа.

— Горело почти что с полчаса! — сказал народ и заотвечал дальше, споря сам с собой.

— Больше горело: не брешите!

- Меньше — я обрадоваться не успел!
- Как же меньше, когда у меня слезы от яркости потекли?!
- Они у тебя и от лампадки текут.
- Ярко горело? — спросил я.
- Роскошно, — закричали некоторые.
- У нас раздался было научный свет, да жалко, что кончился, — сказал знакомый мне смазчик.

- А нужно вам электрическое солнце? — поинтересовался я.
- Нам оно впрок; ты прочитай формальность около тебя.

Я оглянулся и увидел бумажную рукопись, прибитую гвоздями к специальной доске. Вот этот смысл на той бумаге:

«Устав для действия электросолнца в колхозе «Доброе начало»:

1. Солнце организуется для покрытия темного и пасмурного дефицита небесного светила того же названия.

2. Колхозное солнце соблюдает свет над колхозом с шести часов утра до шести часов вечера каждый день и круглый год. При наличии стойкого света природы колхозное солнце выключается, при отсутствии его включается вновь.

3. Целью колхозного солнца является спускание света для жизни, труда и культурной работы колхозников, полезных животных и огородов, захватываемых лучами света.

4. В ближайшее время простое стекло на солнце надо заменить научным, ультрафиолетовым, которое развивает в освещенных людях здоровье и загар. Озаботиться товарищу Кондрову.

5. Колхозное электросолнце в то же время культурная сила, поскольку некоторые старые члены нашего колхоза и разные верующие остатки соседних колхозов и деревень дали письменное обязательство — перестать держаться за религию при наличии местного солнца. Электросолнце также имеет то прекрасное значение, что держит на земле постоянно яркий день и не позволяет скучиваться в настроенных колебаниях, невежеству, сомнению, тоске, унылости и прочим предрассудкам и тянет всякого бедняка и середняка к познанию происхождения всякой силы света на земле.

6. Наше электросолнце должно доказать городам, что советская деревня желает их дружелюбно догнать и перегнать в технике, науке и культуре, и выявить, что и в городах необходимо устроить районное общественное солнце, дабы техника всюду горела и гремела по нашей стране.

7. Да здравствует ежедневное солнце на советской земле!»

Все это было совершенно правильно и хорошо, и я обрадовался этому действительному строительству новой жизни. Правда, было в таком явлении что-то трогательное и смешное, но это была трогательная неуверенность детства, опережающего тебя, а не падающая ирония гибели. Если бы таких обстоятельств не встречалось, мы бы никогда не устроили человечества и не почувствовали человечности, ибо нам смешон новый человек, как Робинзон для обезьяны; нам кажутся наивными его занятия, и мы втайне хотим, чтобы он не покинул умирать нас одних и возвратился к нам. Но он не вернется, и всякий душевный бедняк, единственное имущество которого — сомнение, погибнет в выморочной стране прошлого.

Кондров вернулся.

— Ты, наверно, в Москву ездил за ультрафиолетовыми лампами? — спросил я его.

— За ними, — ответил он, — сказали, что еще не продаются, все только собираются делать их, чешутся чего-то!

— Ты где был, когда начало гореть солнце и потухло?

— Здесь же, на солнце.

— Жарко было около диска?

— Ужасно!

Я зашел за диск и начал проверять всю проводку, но проверять ее было нечего: вся изоляция на проводах сотлела, все провода покоились на коротком замыкании, а входные предохранители, конечно, перегорели. Всю эту оснастку делал, оказывается, кузнец из другой деревни, соответственно одной лишь своей сообразительности.

По общему решению, с Кондровым мы сделали полный анализ негорению солнца, а затем сообщили свое мнение присутствовавшим близ нас членам колхоза. Наше мнение было таково: солнце потухло от страшной световой жары, которая испортила провода, стало быть, нужно реже посадить лампы на диске.

— Не нужно! — отверг задний середняк. — Вы не понимаете. Вы поставьте на жечь какие-либо сосуды с водой, вода будет остужать жару, а нам для желудка придется кипяченая вода.

Слово середняка, стоявшего позади, было разумно приемлемо для дела; если на рефлекторе устроить водяную рубашку, то жечь будет холодить провода, кроме того, каждый час можно получать по ведру кипятку.

— Ну как? — спросил меня Кондров среди общего задумавшегося молчания.

— Так будет верно, — ответил я.

— Крутильно-молотильную бригаду прошу подойти ко мне! — громко произнес Кондров.

Эта бригада была наиболее упорной в любом тяжком, срочном или малоизвестном труде. Вчера она только что закончила сплошную очистку семян и, проспав двадцать часов, теперь постепенно подошла к Кондрову.

Под солнечной каланчей мы устроили производственное совещание, на котором выяснили все части и материалы для рационализации солнца, а также способ переделки повешенного водобойного колеса на наличное сверху.

После того мне дали освобождение, и я заинтересовался здешней классово-борьбой. За этим я пошел в избу-читальню, зная, что культурная революция у нас часто идет по раскулаченным местам. Так и оказалось: изба-читальня занимала дом старинного, векового кулака Семена Верещагина, до своей ликвидации единолично и зажиточно хозяйствовавшего на хуторе Перепальном сорок лет (в ожидании того, как назваться колхозом «Доброе начало», деревня называлась хутором Перепальным). Верещагин и ему подобный его сосед Ревушкин жили не столько за счет своих трудов, сколько за счет своей особой мудрости.

С самого начала советской власти Верещагин выписывал четыре газеты и читал в них все законы и мероприятия с целью пролезть между ними в какое-либо узкое и полезное место. И так долго и прочно существовал Семен Верещагин, притаясь и мудрствуя. Однако его привела в смущение в последнее время дешивизна скота, а Верещагин исстари занимался негромкими барышами на скупке и перепродаже чужой скотины. Долго искал Верещагин каких-либо законов на этот счет, но газеты говорили лишь что-то косвенное. Тогда Верещагин решил использовать и самую косвенность. Он вспомнил в уме, что его лошадь стоит нынче на базаре рублей тридцать, а застрахована за сто семнадцать. А тут еще колхоз вот-вот грянет, и тогда лошадь станет вовсе как бы не скот и не предмет. Целыми длинными днями сидел Верещагин на лавке и грустно думал, хитря одним желтым глазом.

«Главное, чтобы государство меня же услышало, — соображал он. — Что-то я нигде не читал, чтобы лошадей мучить нельзя было: значит — можно. Как бы только Осоавиахим не встрял; да нет, его дело аэропланы!»

И Верещагин сознательно перестал давать пищу лошади. Он ее привязал намертво к стойлу веревками и давал только воду, чтобы животное не кричало и не привлекало бдительного слуха соседей.

Так прошла неделя. Лошадь исчахла и глядела почти что по-человечьи. А когда приходил к ней Верещагин, то она даже открывала рот, как бы желая произнести томящее ее слово.

И еще прошла неделя или десятидневка. Верещагин — для ускорения кончины лошади — перестал ей давать и воду. Животное поникло головой и непрерывно хрипело от своей тоски.

— Кончайся, — приказывал коню Верещагин. — А то советская власть ухватлива. Того и гляди о тебе вспомнит.

А лошадь жила и жила, точно в ней была какая-то идейная устойчивость.

На двадцатый день, когда у коня уже закрылись глаза, но еще билось сердце, Верещагин обнял свою лошадь за шею и по истечении часа задушил ее. Лошадь через два часа остыла.

Верещагин тихо улыбнулся над побежденным государством и пошел в избу — отдохнуть от волнения нервов.

Дней через десять он отправился получить за павшую лошадь страховку, как только сельсовет дал ему справку, что конь погиб от желудочного томления.

За вырученные сто рублей Верещагин купил на базаре три лошади и, как сознательный гражданин, застраховал это поголовье в окружной конторе Госстраха.

Пропустив месяц и не услышав, чтобы государство зашумело на него, Верещагин перестал кормить и новых трех лошадей. Через месяц он теперь будет иметь двести рублей чистого дохода, а тамо еще, и так далее — до бесконечности избытка.

Прикрутив лошадей веревками к стойлам, Верещагин стал ждать их смерти и своего дохода.

Однако дворовая собака Верещагина тоже не сидела с убытками — она начала отрывать от омертвевших лошадей задние куски, так что лошади пытались шагать от боли, и таскала мясные куски по чужим дворам, чтобы прятать. Собаку крестьяне заметили, и вскоре сельсовет во всем составе, во главе с Кондровым, пришел к Верещагину, чтобы обнаружить у него склад говядины. Склада сельсовет никакого не нашел, а ночью прибежала во двор Верещагиных целая стая чужих собак, и, присев, эти дворовые животные стали выть.

На другой день левый бедняцкий сосед Верещагина перелез через плетень и увидел трех изодранных собаками умирающих лошадей.

Верещагин тоже не спал, а думал. Он уже с утра пошел взять справку о трех своих павших лошадях, которых он купил, дескать, лишь для того, чтобы отдать в организующуюся лошадиную колонну, но вышла одна божья воля. Кондров поглядел на Верещагина и сказал:

— Не пройдет, Верещагин, твое мероприятие, мы от собак обо всем твоим способе жизни узнали. Иди в чулан пока, а мы будем заседать про твою судьбу: сегодня газета «Беднота» пришла, там написано про тебя и про всех таковых личностей.

— Почта у нас работает никуда, товарищ председатель, — сказал Верещагин. — Я ведь думал, что теперь машины пойдут, а лошадь — вредное существо, оттого я и не лечил такую отсталую скотину.

— Ага, ты умней всего государства думал, — произнес тогда Кондров. — Ну ничего, ты теперь на ять попадешь под новый закон о сбережении скота.

— Пусть попадаю, — с хитростью смирился Верещагин. — Зато я за полную индустриализацию стоял, а лошадь есть животное-опортун!

— Вот именно! — воскликнул в то время Кондров. — Опортун всегда кричит «за», когда от него чашку со щами отодвинут! Иди в чулан и жди нашего суждения, пока у меня нервы держатся, враг всего человечества!

Через месяц или два Верещагина и аналогичного Ревушкина бывшие ихние батраки — Серега, смазчик и другие — прогнали пешим ходом в район и там оставили навеки.

Ни один середняк в Перепальном при раскулачивании обижен не был — наоборот, середняк Евсеев, которому поручили с точностью записать каждую мелочь в кулацких дворах, чтобы занести ее в колхозный доход, сам обидел советскую власть. А именно, когда Евсеев увидел горку каких-то бабье-дамских драгоценных предметов в доме Ревушкина, то у Евсеева раздвоилось от жадной радости в глазах, и он взял себе лишнюю половину, по его мнению, лишь вторившую предметы, — таким образом от женского инвентаря ничего не осталось, а государство было обездолено на сумму в сто или двести рублей.

Такое единичное явление в районе обозначили впоследствии разгибом, а Евсеев прославился как разгибщик — вопреки перегибщику. Здесь я пользуюсь обстоятельствами,

чтобы объявить истинное положение: перегибы при коллективизации не были сплошным явлением, были места, свободные от головокружительных ошибок, и там линия партии не прерывалась и не заезжала в кривой уклон. Но, к сожалению, таких мест было не слишком много. В чем же причина такого бесперебойного проведения генеральной линии?

По-моему, в самостоятельно размышляющей голове Кондрова. Многих директив района он просто не выполнял.

— Это писал хвостун, — говорил он, читая особо напорные директивы, вроде «даешь сплошь в десятидневку» и т. п. — Он желает прославиться, как автор такой, я, мол, первый социализм бумажкой достал, сволочь такая!

Другие директивы, наоборот, Кондров исполнял со строгой тщательностью.

— А вот это верно и революционно! — сообщил он про дельную бумагу. — Всякое слово хрустит в уме, читаешь — и как будто свежую воду пьешь: только товарищ Сталин может так сообщить! Наверно, районные черти просто себе списали эту директиву с центральной, а ту, которую я бросил, сами выдумали, чтобы умнее разума быть!

Действовал Кондров без всякого страха и оглядки, несмотря на постоянно грозящий ему палец из района:

— Гляди, Кондров, не задерживай рвущуюся в будущее бедноту! — заводи темп на всю историческую скорость, невер несчастный!

Но Кондров знал, что темп нужно развить в бедняцком классе, а не только в своем настроении; районные же люди приняли свое единоличное настроение за всеобщее воодушевление и рванулись так далеко вперед, что давно скрылись от малоимущего крестьянства за полевым горизонтом.

Все же Кондров совершил недостойный его факт: в день получения статьи Сталина о головокружении к Кондрову по текущему делу заехал предрика. Кондров сидел в тот час на срубке колодца и торжествовал от настоящей радости, не зная, что ему сделать сначала — броситься в снег или сразу приняться за строительство солнца, — но надо было обязательно и немедленно утомиться от своего сбывшегося счастья.

— Ты что гудишь? — спросил его неосведомленный предрика. — Сделай мне сводочку...

И тут Кондров обернул «Правдой» кулак и сделал им удар в ухо предрика.

До самого захода небесного солнца я находился в колхозе и, облюбовав все достойное в нем, вышел из него прочь. Колхозное солнце еще не было готово, но я надеялся увидеть его с какого-нибудь придорожного дерева из ночной тьмы.

Отойдя верст за десять, я встретил подходящее дерево и влез на него в ожидании. Половина района была подвержена моему наблюдению в ту начинавшуюся весеннюю ночь. В далеких колхозах горели огни. Слышен был работающий где-то триер, и отовсюду раздавался знакомый, как колокольный звон, стерегущий голос собак, работающих на коммунизм с тем же усердием, что и на кулацкий капитализм. Я нашел место, где было расположено «Доброе начало», но там горело всего огня два, и оттуда не доносилось собачьего лая.

Я пропустил долгое время, поместившись на боковой отрасли дерева, и все глядел в окружающую, постепенно молкнущую даль. Множество прохладных звезд светило с неба в земную тьму, в которой неустанно работали люди, чтобы впоследствии задуматься и над судьбой посторонних планет, поэтому колхоз более приемлем для небесной звезды, чем единоличная деревня. Утомившись, я нечаянно задремал и так пробыл неопределенное время, пока не упал от испуга, но не убится. Неизвестный человек отстранился от дерева, давая мне свободное место падать, — от голоса этого человека я и проснулся наверху.

Разговорившись с человеком, я пошел за ним вслед по дороге, ведущей дальше от «Доброго начала». Иногда я оглядывался назад, ожидая света колхозного солнца, но все напрасно. Человек мне сказал, что он *борец с неглавной опасностью* и идет сквозь округ по командировке.

— Прощай, Кондров! — в последний раз обернулся я на «Доброе начало».

Навстречу нам часто попадались какие-то одинокие и групповые люди — видно, в колхозное время и пустое поле имеет свою плотность населения.

— А какая опасность неглавная? — спросил я того, с кем шел. — Ты бы лучше с главной боролся!

— Неглавная кормит главную, — ответил мне дорожный друг. — Кроме того, я слабосердечен, и мне дали левачество, как подсобный для правых районов! Главная опасность — вот та хороша: там пожилые почетные бюрократы, там разные акционерные либералы — тех крутить надо вдосталь — и для самообразования будет полезно: кто ее знает, может быть, правые уже последние ошибочники, последние вышибленные души кулаков!

Ах, как жалко, что у меня сердце слабое, а то бы мне главную дала: ах, и пожил бы я в такое сокрушающее время! До чего ж приятно и полезно сшибить правых и левых, чтобы у здешнего кулачества не осталось ни души, ни ума!

Я смотрел на говорящего человека. Лета его были еще не старые, настолько его туловище глядело измученным существом.

Он дышал неравномерно и редко, все время забывался во внутренних мыслях и едва ли достаточно ел пищи.

Переваливая за горизонт, мы заметили по бледному свету на земле, что сзади нас взошла луна. Мы оглянулись.

Я увидел среди дальнего мрака слабое круглое светило, все же боровшее сплошную тьму.

— Это солнце зажгли в колхозе! — сказал я.

— Да, возможно, — безразлично согласился борец с неглавной опасностью. — Для луны — для последователя солнца — это слишком неважный огонь. И последователем надо быть уметь.

Ночевали мы с ним в неопределенной избушке, которую увидели в стороне от тракта.

— Пункт бы здесь устроить какой-нибудь, — сказал мне на утренней заре прохожий товарищ. — Зачем стоит эта хатка пустой, когда основной золотой миллиард, нашу идеологию, не каждый имеет в душе!

— Это правда, — сказал я, — на свете много душевных бедняков.

В течение первой половины дня мы шли дальше. По сырым полям кое-где уже ходили всем составом колхозы и щупали руками землю, определяя ее весеннюю спелость.

Затем мы дошли до деревни Понизовка, расположенной действительно по низу земли. Это объясняется недостатком воды или трудностью ее добычи на верхних почвах.

Вообще колхозное и совхозное водоснабжение должно стать большим предметом нашей пятилетки, ибо, как я заметил, степень обработки и освоенности земель обратно пропорциональна водоснабжению.

Это значит, что высокие водораздельные земли, обычно самые ценные по качеству, самые структурные по составу, хуже обрабатываются, и за такими полями бывает меньше ухода.

Оно и понятно, потому что водоразделы лежат далеко от хозяйственной базы, всегда прижатой к естественному открытому водоему или к неглубокой грунтовой воде.

Я видел в зерновых районах не меньше ста громадных сел, и все они согнаны на водопой и низы — в долины речек, в балки и прочие провалы рельефа.

Высокие же, самые тучные земли — далеки и пустынные.

Это означает громадные, вероятно, в несколько сот миллионов рублей ежегодно, потери для нашего хозяйства, благодаря недобору урожая с водораздельных почв.

В чем же заключается решение задачи? В том, чтобы селить колхозы и основывать совхозные усадьбы прямо на водоразделах, в центре плодородия почв. А водоснабжение для них следует устраивать посредством глубоких трубчатых колодцев. Добавочное значение тут будет еще в резком оздоровлении деревни. Та заразная жижа открытых водоемов, которой утоляют свою жажду многие деревенские районы СССР, потеряет тогда свой смысл как источник водоснабжения. Артезианская же глубокая вода трубчатых колодцев безвредней, вкуснее и чище, чем хлорированная водопроводная.

Сейчас, когда идешь по дальним частям СССР, то видишь как бы пустую незаселенную страну. Это потому, что все поселения спрятались в низовые ущелья, иначе говоря — гидрологические условия определили собой способ заселения нашей земли. Соображая же несколько глубже, можно сказать, что феодально-капиталистические производственные отношения держали деревню у ручьев и болот, оставляя в полном или частичном запустении самые лучшие по плодородию суходолы. Отсюда ясно, что для многих наших южных, юго-восточных и центрально-черноземных районов социализм должен явиться, в числе прочих своих элементов, также и в качестве воды на водоразделах.

Вот отчего деревня, встреченная нами, называлась Понизовкой — именем, которое подходяще и для тысячи других деревень.

Борец с неглавной опасностью пошел непосредственно в сельсовет, и здесь я был свидетелем действий его опытного ума, умевшего всякую бюрократическую сложность обращать в попятную простоту истины.

— Что же ничего нам не сообщили? — спросил моего дорожного товарища секретарь сельсовета. — Мы бы вам тарантас послали навстречу!

— Не указывай! — ответил борец. — Береги лошадей для сева, а не для меня.

На стене совета висели многие схемы и плакаты, и в числе их один крупный план, сразу привлечший зоркий ум борца с опасностью. План изображал закрепленные сроки и название боевых кампаний: сортировочной, землеуказательной, разъяснительной, супряжно-организационной, пробно-посевной, проверочной к готовности, посевной, контрольной, прополочной, уборочной, учетно-урожайной, хлебозаготовительной, транспортно-тарочной и едоцкой.

Глубоко оглядевшись, борец сел против пожилого, несколько угрюмого председателя. Ему было интересно, почему сельсовет заботится и о том, чтобы люди ели хлеб, — разве они сами непосильны для этого. Или настолько отстали, что откажутся от современной пищи!

— А кто его знает? — ответил председатель. — Может, обозлятся на что-нибудь, либо кулаков послушают, и станут не есть! А мы не можем допустить ослабления населения!

Секретарь дал со своего места дополнительное доказательство необходимости жесткого проведения едоцкой кампании.

— Если так считать, — сказал секретарь, — тогда и прополочная кампания не нужна: ведь ходили же раньше бабы сами полоть просо, а почему же мы их сейчас мобилизуем?

— Потому что, молодой человек, вы только приказываете верить, что общественное хозяйство лучше единоличного, а почему лучше — не показываете, — ответил мой дорожный товарищ.

— Нам показывать некогда, социализм не ждет! — возразил секретарь.

— Ну, конечно, — заключил борец. — Вы строить и достраивать ничего не хотите, вам охота поскорее как-нибудь отстроиться и лечь на отдых среди счастья... Вот она — левая бегущая юность! — уже ко мне обратился командированный.

Настроение председателя было иным. Он угрюмо предвидел, что дальше жизнь пойдет еще хуже. По его выходило, что людей придется административно кормить из ложек, будить по утрам и уговаривать прожить очередную обыденку. Секретарь же с ним постоянно ссорился и считал его правым трусом, сам в то же время яростно и директивно натягивая группу бедняков-активистов, не давая им ни понять, ни почувствовать, вперед, бегом через колхоз, на коммуны.

Спустя немного времени окружной товарищ сильно смеялся такому четкому обстоятельству, когда левый и правый сидят в одной комнате и все время как бы производят один другого из единой кулацкой бездны.

— Едоцкая кампания была ниточкой, на которую я сразу поймал и левацкого караса и правую щуку, — объяснил мне окружной спутник. — Придется мне в этом селе посидеть и кой-кого обидеть из этих дрессировщиков масс.

— Да ты слишком примиренчески с ними говоришь, — сказал я. — При чем тут юность, нежность, когда левый правит на катастрофу? Крой безупречно и правых, и левых!

— Это верно, — вдумчиво согласился борец. — Случись что тяжелое, левый ведь побегит к правому — боюсь, скажет, дяденька! А этот дяденька зарычит своим басом и угробит все на свете, кулацкий кум!

Окружной человек еще немного подумал среди тишины кончающегося степного дня.

— Правильно, правильно: у левых дискант, у правых бас, а у настоящей революции баритон, звук гения и точного мотора.

И здесь борец с неглавной опасностью отошел от меня, я же направился из Понизовки дальше по своему маршруту, несмотря на вечернее время.

Идти мне пришлось недолго: два неизвестных инженера ехали с шофером на автомобиле и взяли меня подвезти до ближайшего места. С полчаса мы ехали спокойно, потом в моторе что-то жестко и часто забилося, словно в камеры цилиндров попало металлическое трепещущее существо. Конус, тормоз — и шофер вышел смотреть повреждение. Отняв гайки, мы общими усилиями попробовали поднять блок цилиндров, но силы у нас оказалось меньше тяжести, а энтузиазма не было. Прохожий человек стоял и судил нас:

— Вы маломочны и беретесь не так. Лучше ступайте на Самодельные хутора — отсюда версты две будет, и того нет. Возьмите оттуда Гришку — он вам одну машину зарядит. А так вы замучитесь: вы люди не те.

Мы помолчали из уважения к себе перед прохожим, но затем сообразили, что без этого Григория с хутора и без лошадей нам не обойтись, темнело уже.

Я пошел на хутор. В лощине существовали четыре закопченных двора, из каждой трубы шел какой-то нефтяной дым, а всюду в этом поселении гремели молотки. Хутор был похож не на деревню, а на группу придорожных кузниц; самые же дома, когда я подошел ближе, были вовсе не жилищами, а мастерскими, и там горел огонь труда над металлом. Опустелые поля окружали эту индустрию, видно, что хуторяне не пахали и не сеяли, а занимались железным делом какого-то постоянного машинного мастерства. Вдруг резкая воздушная волна ударила мне в глаза горячим песком, снесенным с почвы, и вслед за этим раздался пушечный удар. От неожиданного страха я присел на лопух и слегка обождал. Голый человек, черный и обгорелый — не на солнце, а близ огня — вышел из хаты-мастерской и поднял позади меня огромный деревянный кляп.

Этот человек оказался необходимым нам Григорием. Он только что испробовал прочность железной трубы посредством выстрела из нее деревянной пробкой: железная труба лежала в горне, имея воду внутри, и работала, как паровой котел, — на давление, пока не вышибла кляпа из отверстия.

Григорий пошел со мной и поступил с автомобилем очень просто: он выбрал начинку из двух цилиндров, в виде рассыпавшихся вкладышей, и запустил мотор на двух цилиндрах.

— Ехать можно, — сказал нам Григорий. — Только в двух холостых цилиндрах теперь живот болит — там газ и масло гоняются непостижимо как.

Мы поехали на его хутор. Хутор этот живет уже лет двести, и всегда в нем было не более четырех дворов. В свое отошедшее в древность время хутор был ремонтной мастерской чумачьих телег, арб и чиновничьих экипажей, а теперь на хуторе поселились бывшие партизаны и демобилизованные красноармейцы, происхождением из шахтеров, московских холодных сапожников и деревенских часовых мастеров, делавших в свое время, за недостатком заказов, девичьи бусы.

— Вы ездили на автомобиле? — спросил Григория один основной пассажир-инженер.

— Кто мне давал его?! — с вопросительной обидой произнес Григорий, правивший машиной.

— А как же вы едете так прилично?

— А я же еду и думаю, — объяснил Григорий. — Машина же сама говорит, что ей симпатично, а я ее слушаю и норовлю.

На этом хуторе мы ночевали, потому что Григорий обещал поделаться вкладыши из металла, который никогда не лопнет и не раскрошится.

Мы легли на ночлег в солому близ сарая, в котором хранился уголь и брак продукции. Едва только мы углубились в прохладу сна на свежем воздухе, как нас разбудил гром аплодисментов и длительные овации. Вокруг ничего не существовало, кроме тихой и порожней степи, а в одном строении хутора гремел восторг масс и трезво дребезжало стекло открытого окна. Я встал в раздражении испорченного сна, но со счастьем любопытства.

— Неопределенных возгласов не хватает! — услышал я рассуждение Григория в тишине кончившейся овации. — Люди всегда работают сразу — и в ладоши и в голос крика! Иначе не бывает. Когда рад, то все члены организма начинают передачу.

Я не понимал и пошел внутрь мастерской. На полу жилья стоял станок, похожий на тот, что точит ножи и всякие лезвия, но с особым значительным ящиком и разными мелкими деталями. Привод станка в действие явно был ножной. Весь этот аплодирующий автомат был изготовлен полевыми мастеровыми для Петропавловского драмкружка, которому нужны были, по ходу одной пьесы, приветствующие массы за сценой.

Здесь пришел другой мастеровой — Павел, по прозвищу Прынцып; он принес кусок блестящего металла в руке.

— Что это? — спросил я у Григория.

— Это мы детекторы из него крошим.

— И много вам заказывают?

— Тыщи. Наши деревни музыку обожают, а слободы еще более. Я думаю, что дальше в степь радио и не проходит: у нас в округе антенн гуще, чем деревьев, вся волна тут оседает.

Затем мастеровые сели ужинать; их было семь человек, и все они слегка походили друг на друга. Стол находился под кущей закоптевшего единственного дерева — в конце двора; над столом, подвешенная к дереву, горела чугунная люстра из десяти пятисвечных электрических лампочек, а самое электрическое питание лампам подавал аккумулятор с чердака. На столе имелись для аппетита полевые жестяные цветы в банке и две стальные гравюры, изображающие любовь.

После сытного ужина, рассчитанного на утоление мощных туловищ степных мастеровых, состоялось чтение газеты вслух. Читал Григорий, а остальные серьезно слушали и отвечали искренними чувствами.

— «Нашей погранохраной задержан польский шпион Злучковский!» — читал Григорий.

— К ногтю! — решили слушатели про того шпиона.

— «В Баку открыт новый мощный завод смазочных масел».

— Машинам необходимы жиры. Это первейшая нужда, — одобряли такое дело мастеровые, сочувствуя машинам.

— «Камчатская пушная экспедиция Госторга шлет приветствие пролетариату Советского Союза».

И все слушатели молча наклоняли головы в ответном приветствии.

— «Близ Ашхабада наблюдались слабые толчки почвы. В деревне Исмидие разрушен один дом».

— Зря: люди работают, а посторонняя сила лезет.

Это были очень серьезные люди. Было заметно, что они не слушают происшествия, а чувствуют их, не созерцают, а изучают и в легкой работе ума отдыхают тяжелым телом.

После ужина Григорий принялся за изделие вкладышей для автомобильного мотора. По его системе вкладыши должны получиться прочнее, чем были, потому что он собирался их делать не из целого куска бронзы, а из частей.

— Ты видел дома из одного цельного камня? — спросил Григорий у меня.

— Нет, — по справедливости сообщил я.

— Оттого они и стоят по сто лет, оттого и держат бури, жару, дожди и сотрясения! Я тебе вкладыши сварю из крупинки и частей, как кирпичный дом. Будешь ездить сильно. Митрий, порть мне бронзу на мелочь.

Дмитрий начал рубить кусок бронзы.

— Брось, — догадался Григорий. — Бронза стоит государству средств и организации. Руби мне ее из старых вкладышей.

И так было поступлено.

Еще не успел сварить и отформовать Григорий вкладыши, как из степной ночи предстал перед мастерской таинственный, озадаченный всадник. То был друг Григория — комсомолец из далекой слободы.

— Гриша, к нам бог вступает, поп и бабы ему иже херуим хором поют, на голове у него свет горит!.. Едем со мной на лошадином задуг!

— Заводи машину, — сказал Григорий мне. — Буди шофера!

Шофера я разбудил, а инженеры от усталости ехать не захотели.

Через минуту мы помчались с хутора на паре цилиндров — бороться с пришествием бога в слободу, а позади нас попевал комсомолец на коне.

Мы приехали быстрее бога: он еще не дошел до слободы, а медленно двигался по горизонту, окруженный старым народом, и над головой его действительно светился нимб беловатого огня. Мы дали газ в мотор и, с перебоями в цилиндрах, достигли бога и верующих в него.

Шел старик по земле, одетый в рядно, босой и торжественный. Борода, ясные очи и благодушные пожилого лица служили как бы определенными признаками бога-отца. Вокруг косматых головных волос светилось ровное озарение. Увидев автомобиль, бог-отец выпустил из рук чернохвостого голубя, означавшего духа святого; голубь не хотел было улетать от кормильца, но Григорий дал воющий сигнал — и птица понеслась боком вдаль.

За это мы получили из толпы камень, разбивший стекло в правой фаре.

Григорий тогда встал на шоферское сиденье:

— Господа старики и старухи! (В южных слободах любят это почтительно-отжившее обращение). Господь устал от тягости грехов народа и пешего хода по земному пространству. Мы приехали сюда на машине, чтобы заставить дьявола послужить господу... Садись, бог!

— Охотно, голубчик! — согласился близко созерцавший нас бог-отец.

Он был усажен в пассажирское заднее сиденье, и рядом с ним сел Григорий, а шофер повел машину с такой скоростью, чтобы старики и старухи попевали сзади бежать.

Ночь продолжалась над нами; глубокая звездная природа существовала вокруг нас, не замечая местного людского происшествия. В слободе заметили приближение того, кто явился во второй раз в мир человечества, и сторож зазвонил в главный колокол с малыми подголосками, произнося на них пасхальную службу.

Шоферское боковое зеркало все время отражало свет заднего бога, и вдруг оно погасло; я не мог обернуться, потому что по указанию шофера качал воздух в бензиновый бак, но зеркало опять заблестело божьим сиянием, и я успокоился.

У входа в храм лежал ниц поп и так же повалены были все те, кто раньше ходил под богом. В стороне стояла группа комсомольцев, трактористов и молодых слобожан, они бесстрашно улыбались накануне светопрествления. Один крестьянин, уже положительного возраста, подошел ко мне в сомнении:

— Либо, товарищ, правда — бог где-то был, а теперь явился, когда не нужен.

Я не разубеждал его словами, поскольку бог-отец почти фактически был. Здесь божий свет снова потух. Поп поднял очи.

— Где же свет господень, что я видел во мгновении времени?

— Сейчас, — ответил бог. Но свет вокруг его головы не происходил.

— Давай я зажгу! — предложил Григорий. — Ты будешь копать — должность потеряешь.

Он заголил богу рядно, как юбку, пошарил на его груди, и свет засиял.

— У тебя зажимы на батарее ослабли, — тихо сообщил Григорий богу.

— Знаю! — согласно сказал господь. — Туда бы нужно болтики и гаечки, а разве их обнаружишь где в степи.

После посещения храма мы повезли бога в избу-читальню. Так пожелал Григорий, а бог согласился. У Григория был замысел: в этой зажиточной слободе почти никто не верил в радио, а считали его граммофоном. — Григорий вез бога в техническое доказательство. В избе-читальне собралось народу порядочно, тем более что прибывал бог.

В громкоговорителе же ослаб аккумулятор, и про то знал Григорий, а у бога висела вокруг груди свежая батарея элементов. Григорий поставил бога вблизи громкоговорителя и прицепил его проводами к аппарату. Радио, получив усиленное питание, зазвучало четким басом, но зато свет вокруг головы бога потух.

— Верите ли вы теперь в радио? — спросил Григорий собрание, во время перерыва для подготовки оркестра в Москве.

— Верим, — ответило собрание. — Верим господу и в шумную машину.

— А во что не верите? — испытывал Григорий.

— В граммофон теперь не верим, — сообщило собрание.

— Вот тебе раз! — раздражился Григорий. — А если мы вам граммофон сделаем, тогда поверите?

— Послушаем. Слушать будем, а верить обождем.

— А если я вас бога сейчас лишу?

Собрание и тому не особенно удивилось.

— Ну что ж, — ответил за всех неимущий мужик Евсей, читатель центральных газет. — Вместо одного бога за нами десять безбожников ухажорствовать будут. Чем, Гриш, меньше веришь, тем оно к тебе внимания и доходу больше.

В полночь настала пора расходиться. Но вышло горе: никто не брал бога ужинать и ночевать в свою хату. Слобожане требовали, чтобы сельсовет назначил подворную очередь на содержание бога, а неорганизованно иметь бога не желали.

— Да возьми хоть ты его, Степан, — сказал Евсей соседу. — У тебя новая хата порожняя, как-нибудь уляжешься.

— Чего ты? — обиделся Степан. — Я третьего дня бревна на мост по самообложению возил.

Бог уже захотел есть и озяб от свежей ночи, проникавшей в окна избы-читальни.

Наконец над ним сжалился комсомолец, который приезжал за нами на хутор, и позвал старика в свою хату, где существовала одна его бедная мать.

Григорий озлобился на такую религию и увез бога на хутор как старика. Там бог поел, выспался и наутро остался трудиться второстепенным кузнецом. Он оказался кочегаром-летуном астраханской электростанции, тронувшимся в путь в виде бога-отца для проповеди святой коллективной жизни и для подыскания себе почетного счастья в колхозе.

— Я тебя еще раз поймаю — ушибу! — пообещал Григорий. — Живи здесь и работай на производстве. Проповедуй молотком, а не ртом.

Довольный бог остался: все же в нем жила душа кочегара и пролетария, жила и думала: кулак или другой буржуй не сумел бы стать богом, — он, невежда, не знает электротехники.

С теми техническими способностями, какие были у Григория Михайловича Скрынко, сидеть ему на хуторе и стрелять из труб деревянными пробками — не к чему и вредно для государства. Наутро я сказал Григорию об этом. Он послушал и показал мне на окружные бумаги, в силу которых он назначался директором машинно-тракторной станции из шестидесяти тяжелых тракторов; начальной базой для этой станции предназначался тот самый механический хутор, где жил сейчас Григорий. Машины и оборудование для МТС должны были прибыть в течение одной-двух недель.

Это было прекрасно. Лучшего вождя и друга машин, чем Григорий Михайлович, найти в этой местности нельзя. Кроме того, только в случае внезапной смерти Григория Михайловича посевной план МТС мог бы быть не выполнен, а при его жизни этот план наверняка будет превышен процентов на сто, ибо у него трактора не остановятся никогда и он заставит машину работать даже на одном цилиндре, лишь бы сберечь весеннюю минуту.

— А я недоволен, — сказал мне в последующей беседе Григорий Скрынко. — Вот проверну здесь генеральную линию, покажу всей средноте, что такое колхоз в натуре, что такое весна на тракторном руле, а потом учиться уеду, — больше не могу терпеть!

— Чего вы не можете терпеть?

— Отсталости. Зачем нам нужны трактора в каких-то двенадцать, двадцать или шестьдесят сил. Это капиталистические слабосильные марки! Нам годится машина в двести сил, чтоб она катилась на шести широких колесах, чтоб на ней не аэроплан трещал, а дышал бы спокойный нефтяной дизель либо газогенератор. Вот что такое советский трактор, а не фордовская горелка!

— Это, пожалуй, верно. Но как того добиться?

— Стану сам профессором тяги, вот и добьюсь.

Наверное, так и случится, что года через три-четыре или пять у нас начнут пропадать фордзоновские царапалки и появятся мощные двухсотсильные пахари конструкции профессора Г. М. Скрынко.

— Что будет дальше на моем пути? — спросил я у Григория.

— Колхоз «Без кулака», — сказал Григорий. — Там председателем мой двоюродный брат, Сенька Кучум, скажи ему, что ты был у меня. А еще далее у тебя будет 2-е Отрадное, там тоже меня знают, и ты кланяйся кому-нибудь!

Я направился в этот указанный колхоз, но ввиду ночной тьмы не успел достигнуть места назначения и явился туда наутро нового дня.

При входе в колхоз висела вывеска с названием этого общественного сельского хозяйства, а под вывеской план работ на текущий год, изображенный по железу, и классовый состав колхоза:

48 бедняков, 11 батраков, 73 середняка, 2 учителя, прочая женщина с детьми-сиротами.

Колхоз «Без кулака» существует с августа 1929 г., причем в 1928 г. при единоличном ведении хозяйства нынешними участниками колхоза засеяно озимыми всего 182 гектара, колхоз же посеял озимых 232 гектара, по яровым колхоз наметил увеличить площадь посева в полтора раза против того, что сеяли нынешние члены, будучи единоличниками. За счет какой же конкретной силы произошло увеличение производительности сложенных бедняцко-середняцких хозяйств?

Не зная этого, я пошел к Семену Кучуму, чтобы спросить. Семен, по прозвищу Кучум, удивил меня мрачностью лица и резким голосом, раздающимся из глубины его постоянно скорбящего сердца.

— Я не могу тебе ответить, — сказал он мне, — потому что для нас нет такого вопроса, для нас это понятно без всякого ума.

— У вас, наверное, тракторы есть или вам МТС работала?

— Нет еще ни трактора, ни МТС.

— А что же есть?

— Чего в тебе нет: в нас нет вопроса.

— А отчего же мужики больше сеять начали?

— А для чего же они колхоз организовали — для бурьяна, что ли?

— Ты обходишь мой вопрос, — я же с добром спрашиваю.

— Не обхожу, — сообщил Кучум. — По-твоему, все наше дело должно выйти так: собрались люди в кучу с одним планом и желанием, стали работать, и вдруг ничего у них не вышло. Это же страшно, и так быть не может! Так думает безумный или ненавистный.

— И я так думаю иногда.

— Понятно: в тебе нет колхозного чувства и классовой нужды, не все поспевают за революцией. Кто имеет чувство или хотя бы вашу классовость, у того и ум, а чувства — остаются одни вопросы и злоба.

Я поник. Это была приблизительная правда. Я остался в колхозе на несколько дней, не особо все же доверяя Семену Кучуму. Больше Кучум уже ни разу не говорил со мной, потому

что вообще не произносил слов без нужды, хотя был вежливым и спокойным от какого-то равномерного делового уныния человеком. Дальше я существовал лишь свидетелем некоторых событий.

В этой деревне около четверти населения было в колхозе. Остальные же крестьяне все время мучились душой: входить им или обождать. Работал Кучум непостижимо, я больше никогда не видел такого колхозного организатора.

Однажды подходят к нему четыре бедняка — у всех одно заявление: бери их и зачисляй в колхоз. Бедняки эти были общеизвестными, но в смысле качества — люди не вполне усердные, так как давно уже отчаялись найти дорогу к облегчению своей жизни. Это их усердие, вероятно, и озлобило Кучума, поскольку дорога для жизни бедноты была уже открытой.

— Чего еще! — с грубым недружелюбием сказал им Кучум. — Вы что, очертенели, что ль? Вы думаете, в колхозе легко вам будет?

— Да, может, Семен Ефимыч, и легче, — ответили бедняки.

— Это вам люди набрехали, — угрюмо объяснил Кучум. — В колхозе же труд, забота, обязанности, дисциплина, — куда вы лезете?

— А как же нам быть-то, Семен Ефимыч?

— Да будьте на своих дворах, охота вам горе добывать!

Бедняки в раздумчивости уходили от Кучума; некоторые же считали шепотом, что Кучум — тайный подкулачник.

Середняки обычно приходили в колхоз писаться поодиночке. Они подавали бумагу с молчанием и с морщинкой на лбу, въевшейся в их головы еще с зимы.

— Пиши и нас, Семен Ефимыч, я человек не каменный.

— А какой же ты? — спрашивал Кучум.

— Я трогательный. Я же вижу ваши обстоятельства, а у себя не вижу ничего, — живу неподвижно, как вечный какой!

— Истомиться у нас пожелал, — уныло-недоуменно ставит вопрос Кучум. — Другую морщину нажить на лоб хочешь?

— Да хоть бы и так, Семен Ефимыч!

— Хоть бы и так? Нет, ты уже иди назад — нам мучеников не нужно. Помучайся лучше на своей усадьбе — отмучаешься, тогда придешь.

Я решил, что Кучум нарочно не принимал единоличников, чтобы поднять колхоз изолированным способом на высоту благосостояния. Но большинство единоличников-крестьян чувствовали другое: они глубоко чтители Кучума.

— Сначала мы тоже думали, что он пьяный или дурной, а потом узнали, что он настоящий, — объяснил мне многократно не принятый в колхоз бедняк Астапов.

Оказывается, и в прошлом году Кучум тоже создавал колхоз крайне неохотно, с отсрочкой и с оттяжкой, страшно поднимая этой истомой чувство бедноты, положившей уже уйти в колхоз. Такими непонятными действиями Кучум устроил не просто поток бедноты в колхоз, а целый напор, давку у его дверей, ибо сумел организовать какую-то высокую загадочность колхоза и дал в массу чувство недостойности быть его членами. Но в то же время Кучум не хитрил, не казался политиком. Он никогда не обещал ничего хорошего вперед, не давал никаких обязательств и поручательств на светлую жизнь, и первый, среди всех известных мне колхозных активистов, имел мужество угрюмо сказать колхозникам, что их вначале ожидает горе неладов, неумелости, непорядка и нужды; причем нужда эта будет еще горче, чем бывает она на одном дворе, и побороть ее тоже будет трудней, чем одинокому хозяину, но зато, когда колхоз окрепнет, нужда сделается невозможной и безвозвратной. Эту мысль Кучум, однако, не выговаривал, а лишь думал ее молча, — говорил же он другое.

— Но, может, потом нам будет хорошо? — робко спрашивали его первые колхозники.

— Не знаю, — искренне отвечал Кучум, — это зависит от вас, а не от меня. Помогать я вам буду, кулака в колхоз не пущу, но кормиться и добиваться лучшего вы должны сами. Вы не

думайте, что только советской власти необходим ваш колхоз, — советская власть и без хлеба жила, — колхоз нужен вам, а не ей.

— Да ну?! — пугались первые колхозники. — А мы слышали, что колхоз советской власти по душе!

— Ну что ж, что по душе! У советской власти душа же бедняцкая — стало быть, что вам хорошо, то и ей впрок.

Так еле-еле, под напором нескольких неимущих был устроен колхоз «Без кулака».

И действительно, Семен Кучум никого не обманул — тяжело пришлось колхозникам в первое смутное время организационности. А Семен ходил среди всех в такие дни тужести и говорил:

— Ну, кого выписывать прочь? — Но никто не пожелал выписаться.

Только много позже, уже зимой, один человек, хвастающий тем, что он официальный батрак, выписался из колхоза.

— Не могу, — сказал он, — харчи дают без гущи, работай от сна до сна, все помнить велят, лучше я батрацкой льготой буду жить.

— Вали, — ответил ему Кучум. — Кулак ведь не одних большевиков из нашего брата делал, а и вечных рабов еще вроде тебя. Вали к чертовой матери!

После осеннего сева Кучум, однако, принял в колхоз дворов, кажется, десять, и то с серьезным разговором. Я написал «принял», но это не значит, что Кучум решал все дела колхоза в одиночку, наоборот, он отказывался ото всех дел, кроме прямой работы вроде пахоты. Но сами колхозники так относились к Кучуму, что ничего не совершали без его слова. Если же он молчал, тогда коллективисты чувствовали его настроение и по его настроению делали свои постановления. После сортировки зерна и подготовки к севу Кучум принял еще дворов пять. Такими способами приема Кучум так настроил всю единоличную часть деревни, что большая часть единоличников уже напирала в ворота колхоза. Но Кучум не совершал приема без показательных фактов колхоза, без достижений таких образцов работ, которые служат ясным и простым доказательством выгоды общественного трудового хозяйства. Поэтому он и принял десять дворов только после осеннего сева, произведенного, говорят, так, что единоличники стояли по сторонам колхозного поля и плакали, точно видели что-то трогательное.

После подготовки к севу также состоялся прием новых членов, и после весны, надо думать, Кучум отойдет сердцем и даст вход беднякам и середнякам. Правило Кучума, очевидно, было такое: чем больше колхоз доказывает сам себя (доказывает фактически — на ощупь населению), тем больше он пополняется новыми членами. Кучум не разрешал обманываться людям.

Такая политика, в сущности, лишала возможности бедноту и лучшую часть середняков проявить свою активность. Такая политика, похожая отчасти на безвольный самотек, могла разоружить революционные сады деревни, и впоследствии район серьезно и резко указал Кучуму, что хотя сам он, Кучум, человек милый и геройский, но политика его почти кулацкая, и Кучум, обидевшись, все-таки согласился с районом, потому что ума и дисциплины в нем было больше, чем однодворного эгоизма.

Но в это время мне странно было видеть и слышать, как единоличники, не принятые еще в колхоз, любили этот колхоз и заботились о нем. Один средний крестьянин, по уличному прозвищу Пупс, хотел, например, организовать группу колхозных кандидатов, дабы обеспечить себе первоочередное проникновение в колхоз, но Кучум запретил такое неопределенное дело и разрешил Пупсу создать лишь товарищество общественной обработки земли. Пупс такое товарищество (ТОЗ) учредил, но остался все же в большой обиде на Кучума и выпивши ходил по деревне с песней:

Эх, в колхозе вольно жить,
Вольно жить, не тужить.
Выпьешь бутылку-другую кваску
И побежишь погулять по леску.

Дойдя до правления колхоза, Пупс долго требовал, чтобы к нему вышел Кучум, — он хотел еще раз поглядеть на великого человека.

В разных частях быта и хозяйственной сноровки единоличников сказывалось влияние колхоза. Каждый личный хозяин норовил суетиться на своем дворе по звонкам колхоза, раздававшимся на всю деревню. Ему было теперь неудобно лежать дома на лавке, зная, что в колхозе трудятся. Особенно же доставалось женской части единоличников. Насмотревшись порядков в колхозе, мужики ходили теперь по своим домашним угожьям с презрением:

— Марфуш! А Марфуш! — терпя свое сердце, обращался супруг к жене, а жена его доила корову. — Ты бы хвостяную конечность к коровьей ножке привязала: чего ж тебя хвостом животное по морде бьет! Ты бы хоть раз на колхозные дворы сходила, поглядела бы, как там членки доют!

Другой хозяин всю ночь спал с открытым окном избы, потому что в колхозе люди спали с воздушным сообщением. Третий человек выписывал сразу две газеты на одного себя, поскольку в колхозе приходилось по газете на каждую взрослую душу.

И еще я заметил, что колхозные девицы были самыми модными барышнями среди юношей единоличных дворов. Они им казались вкусней и сознательней, и гораздо изящней, точно социалистические парижанки среди феодального строя.

Единоличные девки, глядя на молодых колхозниц, единодушно бросили белиться, перестав тереться щеками о белые стены, ибо ни одна колхозница не украшала свое лицо красками.

Таково было великое томление единоличников по колхозу, устроенному Кучумом без большого восторга. Мало того, я наблюдал людей, прибывших из окрестных деревень и, видимо, надеявшихся, что можно будет скуствоваться своей деревней с колхозом Кучума.

— Действуйте себе на горе, если вам жизнь не дорога, — сообщал Кучум таким гостям, — а жаловаться потом ко мне не приходите.

— Ишь ты какой! — обижались пришельцы. — У тебя, стало быть, и колхоз, и весь свет жизни, а мы сиди под собственным плетнем и жуй житное с солью.

— Я же вам говорю, чтобы вы организовались, раз вы беды не боитесь!

— А у вас-то в колхозе аль беда какая?

Беды в колхозе, пожалуй, не было, но и покоя жизни тоже никто не знал. Но все же единоличники верили, что в колхозе с каждым днем прибавляется по одной капле лучшей жизни, а у них эта влага стоит в срезе, на одном уровне.

Кучум подсчитал, что о союзе с окрестными колхозами он будет говорить во время самой нужды в этом союзе, например, во время появления МТС, при землеустройстве, при организации борьбы с несознательными полезными вредителями и в других больших хозяйственных случаях.

Мне было очень интересно, как сумел этот мрачный вождь бедняцкого движения к хлебу и свету организовать труд в колхозе и распределение продуктов.

В этом деле он оказался скупым рыцарем. Весь состав колхоза он разбил на две половины: люди до 20 лет (юноши и девушки) и люди старше 20 лет.

При этом молодое поколение (до двадцати лет) разбивается еще на ряд групп: младенчество, детство, отрочество, рабочая молодежь в 15-20 лет. Для всей этой молодежной части колхоза снабжение было установлено, как в коммуне, без всякой разницы и поправки на общественную трудовую полезность (принималась во внимание только возрастная разница: например, младенец и уже работающий юноша в 17 лет и т. п.). Даже членов старше 20 лет натуральное и денежное снабжение происходило сдельным способом. В хозяйственном плане колхоза было записано и утверждено следующее: «Весь доход колхоза «Без кулака», за отчислением от него амортизации, налога, расходов по скоту, страховки и пр., делится на число душ-едоков; души-едоки до 20 лет получают свою долю дохода полностью, а более старшие лишь половину своей доли, и из расчета этой половины душевого дохода составляется сдельный

расценок каждого члена старше 20 лет. Другая половина душевого дохода старшего члена за минувший хозгод делится так: четверть ее идет на усиление пищи и одежды молодого поколения, т. е. не свыше 20 лет, две четверти на хозяйственное развитие коллектива и последняя четверть в запасный, неприкосновенный фонд, а также на помощь индустриализации государства».

Ясно, что Кучум имел на свежее поколение великую надежду и впряг всех взрослых людей, уже испорченных бывшим империализмом, работать на это живое будущее.

Кучум знал, что нынешнее юношество уже будет жить в коммуне и не станет нуждаться в сдельщине. Впрочем, молодежь не нуждалась в сдельщине и сейчас: я узнал, что колхозники в возрасте 15-20 лет работали с предельным напряжением сил и не имели надобности в каком-либо подгоняющем принуждении, — им было необходимо лишь обучение. Эта картина трудового усердия молодежи стала обычной в нашей стране, потому что советская юность не знает причин для избежания труда, разве что лишь когда переутомится или влюбится.

Рабочие планы составлялись в этом колхозе на каждые 10 дней. Согласно такому общему декадному плану, всякому члену колхоза выдавался на руки личный план-талон, в котором обозначались объем работ, число часов для ее исполнения и расценок. Такие индивидуальные планы-талоны указывали обязанности каждого члена в течение одного, двух, а иногда и трех дней.

Весь плановый и операционный штат колхоза состоял из Кучума и его помощника, бывшего батрака Силайлова; но и эти двое также получали личные планы-талоны на обычную работу, общей же плановой и руководящей деятельностью они занимались по вечерам или рано утром.

Из новых учреждений в колхозе был детский сад с яслями и Дом коллективиста, работавший под заботой двух учителей-колхозников, — причем эти учителя были освобождены от всякой сельскохозяйственной работы и снабжались так, как если бы им было меньше двадцати лет. Последнее обстоятельство указывало на глубокий расчетливый такт Кучума; в остальном же он был скупец и безжалостный хозяин. Это его свойство сказалось и в плане колхоза, и во внешнем виде колхозников — одевались они плохо и имели худой, изработанный вид.

Зато молодая часть колхоза была совсем другая — не только пригожа и сыта на лицо, но и одета вполне прилично: недаром колхозные девушки были парижанками для всех одиноличных девок. В эту сторону Кучум уже ничего не жалел и лично ездил в город закупать мануфактурный материал для молодежи, беря для консультации парня и девицу.

В мою бытность в этом колхозе Кучум совершил одно замечательно правильное начинание: он от имени колхоза вызвал на соревнование весь местный состав единоличников, желавших быть колхозниками. Предметом соревнования были все обычные статьи весеннего сева: семзерно, площадь засева на лошадь-человека, срок и т. д. Призом же соревнования было следующее: если единоличники выиграют у колхоза или хотя бы близко сравняются с ним, то всех соревнующихся единоличников Кучум принимает в колхоз; если проиграют — пусть с приемом подождут до осени.

Единоличники вызов Кучума приняли.

— Мы ему, черту, покажем, кто мы такие! — ожесточаясь для невероятного труда, говорили некоторые единоличники.

— Попробуем. Может, и сладим.

— С ним попробуешь! Он, гляди, вот-вот и спать перестанет.

— Это бы ничего. Плохо то, что и другие все запляшут скоро под его шаг.

— На лицо-то он вялый, а как почнет рвать и метать, как только почва его носит!

— Ну, ведь и мы из костяного материала сделаны!

— Замучил он нас. Если бы он бабой был, то мы бы думали, что он присушку знает, а раз он мужик, то непонятно. При нем, говорят, и дети в яслях не плачут.

— А что же они делают?

— Кто ее знает! Наверно, сознавать начинают.

— Вот крест-то нам господь послал! От него, как от бабы, и отвязаться нельзя.

— Даже странно! — почти научно выразился какой-то единоличный малый.

Мне неизвестно, чем закончилось это редкое соревнование. Если даже колхоз и не выиграл, что при Кучуме недопустимо, то выиграло государство, ибо в той деревне засеяны, наверно, не только все порожние земли, но даже и овражные косогоры, ибо ярость мужиков была велика, да и у кучумовцев она не маленькая, хотя и другого качества.

Теперь задумаемся над тем, правильна ли работа Кучума во всех частях, нет ли в его работе скрытой установки на самотек, на этого врага бедноты и средних мужиков? Колхозы, конечно, есть судьба всемирного трудящегося крестьянства, но если авангард того же крестьянства и пролетариата не разбудит сознания в массах, не создаст тяги в колхозы, то судьба эта опоздает, а замедленное движение всегда чревато риском и падением.

Да, в работе Кучума есть и была бессознательная установка на самотек, на политику прижатых тормозов, но я считаю, что напирательная беднота украдет вскоре у Кучума эту установку, и тогда, потерпев самотек, он приобретет полный дар вождя.

В день своего отхода из колхоза я увидел, наконец, как уныло-равнодушный Кучум был краткое время бешеным. К нему явился снятый с должности председатель колхозного куста, расположенного отсюда километров за двадцать. Он с Кучумом был хорошо знаком и почти что приходился ему другом, что замечалось по искренности отношения и легкой радости на обоих лицах. Прибывший кустовой председатель начал жаловаться на неправильности: его прогнали за перегибы, за то, что он раскулачил будто бы сорок человек середняков и закрыл церковь без либерального подхода к массам; но ведь те середняки завтра могли бы стать кулаками, и он лишь пресек их растущую тенденцию. А что касается церкви, то народ, сам не сознавая, давно потерял надежду в наличие бога, и он только фиксировал этот факт путем запрещения религии, — за что же, спрашивается, его ликвидировали как председателя?

Здесь бывший председатель сообщил следующее свое мнение: собаке рубят хвост для того, чтобы она поумнела, потому что на другом конце хвоста находится голова. Тут он явно намекал на то, что, дескать, райисполком — голова, а он — хвост, точно рик и вправду приказывал ему в течение недели учредить коммунизм. Даже мне было глубоко грустно слушать такую отъявленную негодяйскую речь.

Чем больше слушал Кучум эти слова своего друга, тем все значительней серело его лицо. Затем он стал бордовый, равнодушные его глаза осветились мгновенной энергией, и, слегка приподнявшись, Кучум молча совершил, резкий, хрустящий удар в грудь противосидящего друга. Друг без дыхания повалился навзничь. Но Кучум не чувствовал еще удовлетворения. Он вышел из-за стола, поднял упавшего за куртку и дал ему свежий, сокрушительный удар в скулу — так что бывший председатель прошиб затылком оконную раму и вывалился из помещения на улицу, осыпанный мелочью стекла. После этого акта Кучум вновь приобрел унылое выражение своего лица, я же почувствовал значение партии для сердца этих угрюмых непобедимых людей, способных годами томить в себе безмолвную любовь и расходовать ее только в измощающий, счастливый труд социализма.

— До свидания! — сказал я Кучуму.

— Прощай, — товарищески мягко произнес он, зная, что, куда бы я ни делся, я все же всюду останусь в строительстве социализма, и какой-нибудь прок от меня будет.

Наевшись в колхозе мяса, я пошел из общего хозяйства по прямому направлению и часов через шесть дошел до большого селения под названием Гущевка. Я стал в крайней избе на ночлег и долго лежал на лавке без сна, а в полночь в это же место пришел ночевать товарищ Уповев, главарь района сплошной коллективизации, не имевший постоянного местопребывания.

К утру я уже коренным образом познакомился с товарищем Уповевым и узнал мужественную, необоримую жизнь этого простого человека.

Раньше любая кулацкая сила постоянно говорила бедняку Уповеу: «Ты отсталый, ты человек напрасный на этом свете, ты псих, большевиком ты состоять не годишься — большевики люди проворные».

Но Уповев не верил ни кулаку, ни событию — он был неудержим в своей активности и ежедневно тратил тело для революции.

Семья Уповева постепенно вымерла от голода и халатного отношения к ней самого Уповева, потому что все свои силы и желания он направлял на заботу о бедных массах. И когда ему сказали: «Уповев, обратись на твой двор, пожалей свою жену — она тоже была когда-то изящной середнячкой», то Уповев глянул на говорящих своим активно-мыслящим лицом и сказал им евангельским слогом, потому что марксистского он еще не знал, указывая на весь бедный окружающий его мир: «Вот мои жены, отцы, дети и матери, — нет у меня никого, кроме неимущих масс! Отойдите от меня, кулацкие эгоисты, не останавливайте хода революционности! Вперед — в социализм!»

И все зажиточные, наблюдая энергичное бешенство Уповева, молчали вокруг этого полууголого, еле живого от своей едкой идеи человека.

По ночам же Уповев лежал где-нибудь в траве, рядом с прохожим бедняком, и плакал, орошая слезами терпеливую землю: он плакал, потому что нет еще нигде полного, героического социализма, когда каждый несчастный и угнетенный очутится на высоте всего мира. Однажды в полночь Уповев заметил в своем сновидении Ленина и утром, не оборачиваясь, пошел, как был, на Москву.

В Москве он явился в Кремль и постучал рукой в какую-то дверь. Ему открыл красноармеец и спросил: «Что надо?»

— О Ленине тоскую, — отвечал Уповев, — хочу свою политику рассказать.

Постепенно Уповева допустили к Владимиру Ильичу.

Маленький человек сидел за столом, выставив вперед большую голову, похожую на смертоносное ядро для буржуазии.

— Чего, товарищ? — спросил Ленин. — Говорите мне, как умеете, и буду вас слушать и делать другое дело — я так могу.

Уповев, увидев Ленина, заскрипел зубами от радости и, не сдержавшись, закапал слезами вниз. Он готов был размолоть себя под жерновом, лишь бы этот небольшой человек, думающий две мысли враз, сидел за своим столом и чертил для вечности, для всех безрадостных и погибающих свои скрижали на бумаге.

— Владимир Ильич, товарищ Ленин, — обратился Уповев, стараясь быть мужественным и железным, а не оловянным. — Дозволь мне совершить коммунизм в своей местности! Ведь зажиточный гад опять хочет бушевать, а по дорогам снова объявились люди, которые не только что имущества, а и пачпорта не имеют! Дозволь мне опереться на пешеходные нищие массы!..

Ленин поднял свое лицо на Уповева, и здесь между двумя людьми произошло собеседование, оставшееся навсегда в классовой тайне, ибо Уповев договаривал только до этого места, а дальше плакал и стонал от тоски по скончавшемуся.

— Поезжай в деревню, — произнес Владимир Ильич на прощанье, — мы тебя снарядим — дадим одежду и пищу на дорогу, а ты объединяй бедноту и пиши мне письма: как у тебя выходит.

— Ладно, Владимир Ильич, через неделю все бедные и средние будут чтить тебя и коммунизм!

— Живи, товарищ, — сказал Ленин еще один раз. — Будем тратить свою жизнь для счастья работающих и погибающих: ведь целые десятки и сотни миллионов умерли напрасно!

Уповев взял руку Владимира Ильича, рука была горячая, и тягость трудовой жизни желтела на задумавшемся лице Ленина.

— Ты гляди, Владимир Ильич, — сказал Уповев, — не скончайся нечаянно. Тебе-то станет все равно, а как же нам-то.

Ленин засмеялся — и это радостное давление жизни уничтожило с лица Ленина все смертные пятна мысли и утомления.

— Ты, Владимир Ильич, главное, не забудь оставить нам кого-нибудь вроде себя — на всякий случай.

По возвращении в деревню Упоев стал действовать хладнокровнее. Когда же в нем начинало бушевать излишнее революционное чувство, то Упоев бил себя по животу и кричал: «Исчезни, стихия!»

Однако не всегда Упоев мог помнить про то, что он отсталый и что ему надо думать: в одну душную ночь он сжег кулацкий хутор, чтобы кулаки чувствовали — чья власть.

Упоева тогда арестовали за классовое самоуправство, и он безмолвно сел в тюрьму.

В тюрьме он сидел целую зиму, и среди зимы увидел сон, что Ленин мертв, и проснулся в слезах.

Действительно, тюремный надзиратель стоял в дверях и говорил, что Ленин мертв, и плакал слезами на свечку в руке.

Когда под утро народ утих, Упоев сказал самому себе:

— Ленин умер, чего же ради такая сволочь, как я, будет жить! — и повесился на поясном ремне, прицепив его к коечному кольцу. Но неспавший бродяга освободил его от смерти и, выслушав объяснения Упоева, веско возразил:

— Ты действительно — сволочь! Ведь Ленин всю жизнь жил для нас таких, а если и ты кончишься, то, спрашивается, для кого ж он старался?

— Тебе хорошо говорить, — сказал Упоев. — А я лично видел Ленина и не могу теперь почувствовать, зачем я остался на свете!

Бродяга оглядел Упоева нравоучительным взглядом:

— Дурак: как же ты не постигаешь, что ведь Ленин-то — умнее всех, и если он умер, то нас без призора не покинул!

— Пожалуй что, и верно, — согласился Упоев и стал обсыхать лицом.

И теперь, когда прошли годы с тех пор, когда Упоев стоит во главе района сплошной коллективизации и сметает кулака со своей революционной суши, — он вполне чувствует и понимает, что Ленин действительно позаботился и его сиротой не оставил.

И каждый год, зимой, Упоев думает о том бродяге, который вытащил его в тюрьме из петли, который понимал Ленина, никогда не видя его, лучше Упоева.

В общем же Упоев был почти что счастлив, если не считать выговора от Окрзу, который он получил за посев крапивы на десяти гектарах. И то он был не виноват, так как прочел в газете лозунг: «Даешь крапиву на фронт социалистического строительства!» — и начал размножать этот предмет для отправки его за границу целыми эшелонами.

Упоев радостно думал, что вопрос стоит о крапивоной порке капиталистов руками заграничных, маловооруженных товарищей.

Бродя в последующие дни по усадьбам и угожьям колхоза, я убедился, что мнение о зажиме колхозной массы со стороны колхозных руководителей неверно.

От Упоева колхозники чувствовали не зажим, а отжим, который заключался в том, что Упоев немедленно отжимал прочь всякого нерачительного или ленивого работника и лично совершал всю работу на его глазах.

Мне пришлось наблюдать, как он согнал рулевого с трактора, потому что тот жег керосин с черным дымом, и сам сел править, а рулевой шел сзади пешком и смотрел, как надо работать. Так же внезапно и показательно Упоев внизывался в среду сортировщиков зерна и порочил их невнимательный труд посредством показа своего умения. Он даже нарочно садился обедать среди отсталых девок и показывал им, как надо медленно и продуктивно жевать пищу, дабы от нее получилась польза и не было бы желудочного завала. Девки действительно, из страха ли сознания — не могу сказать точно, от чего, — перестали глотать говядину целыми кусками.

Раньше же у них постоянно бурчало в желудке от несварения. Подобным же способом показа образца Уповев приучил всех колхозников хорошо умываться по утрам, для чего вначале ему пришлось мыться на трибуне посреди деревни, а колхозники стояли кругом и изучали его правильные приемы.

С этой же трибуны Уповев всенародно чистил зубы и показывал три глубоких вдоха, которые надо делать на утренней заре каждому сознательному человеку.

Не имея квартиры, ночуя в той избе, какая ему только предстанет в ночной темноте, Уповев считал своей горницей все колхозное тело и, томимый великим душевным чувством, выходил иногда на деревянную трибуну и говорил доклады на закате солнца. Эти его речи содержали больше волнения, чем слов, и призывали к прекрасной обоюдной жизни на тучной земле. Он поднимал к себе на трибуну какую-нибудь пригожую девушку, гладил ее волосы, целовал в губы, плакал и бушевал грудным чувством.

— Товарищи! Вечно идет время на свете — из нас уж душа вон выходит, а в детях зато волосы растут. Вы поглядите своими глазами кругом, насколько с годами расцветает советская власть и хорошеет молодое поколение! Это ж ужасно прелестно, от этого сердце день и ночь стучит в мою кость, и я скорблю, что уходит план моей жизни, что он выполняется на все сто процентов, и скоро я скроюсь в землю под ноги будущего всего человечества... Кто сказал, что я тужу о своей жизни?

— Ты сам сказал, — говорила Уповеву рядом стоящая девушка.

— Ага, я сказал! Так позор мне, позор такой нелепой сволочи! Бояться гибнуть — это буржуазный дух, это индивидуальная роскошь... Скажите мне громко, зачем я нужен, о чем мне горевать, когда уже присутствует большевицкая юность и новый шикарный человек стал на учет революции?! Вы гляньте, как солнце заходит над нашими полями — это ж всемирная слава колхозному движению! Пусть теперь глядит на нас любая звезда ночи — нам не стыдно существовать, мы задаром организуем все бедное человечество, мы трудимся навстречу далеким планетам, а не живем как гады! Скажи и ты что-нибудь или спой сразу песню! — обращался к девушке Уповев.

Девушка стеснялась.

— Скажи хоть приблизительно! — упрашивал ее Уповев в волнении.

— Что же я тебе скажу, когда мне и так хорошо! — сообщала девица.

— Дядя Уповев, дай я тебе куплет спою! — предложил один юноша из рядов колхоза.

— Ну спой, сукин сын! — согласился Уповев.

Парень тронул на гармонике мотив и спел задушевым тоном:

Эх, любят девки, как одна,
Любят Ваньку-пер...на!

— Раскулачу за хулиганство, стервец! — выслушав хороший голос, воскликнул Уповев и бросился было с трибуны к гармонисту. Но его остановили активисты:

— Брось, Уповев, у него голос хороший, а у нас культработа слаба!

Позже Уповев спрашивал у меня о происхождении человека: его в избе-читальне тоже однажды спросили об этом, а он точно не знал и сказал только, что, наверно, и самом начале человечества был актив, который и организовал людей из животных. Но слушатели спросили и про актив — откуда же он взялся?

Я ответил, что, по-моему, вначале тоже был вождевой актив, но в точности не мог объяснить всей картины происхождения человека из обезьяны.

— Отчего обезьяна-то стала человеком, или ей плохо было? — допытывался Уповев. — Отчего она вдруг поумнела?

Здесь я вспомнил про Кучума и про того, кого он расшиб на месте.

— Самый главный стержень у животного и человека, товарищ Уповев, — это позвоночный столб с жидкостью внутри. Один конец позвоночника — это голова, а другой — хвост.

— Понимаю, — размышлял Уповев. — Позвоночник в человеке вроде бревна, в нем упор жизни.

— Может быть, какие-нибудь звери отгрызли обезьяньи хвосты, и сила, какая в хвост шла, ударила в другой конец — в голову, и обезьяны поумнели!

— А, может быть! — радостно удивился Уповев. — Стало быть, нам тоже звери-кулаки и подкулачники должны что-нибудь отъесть, чтобы мы поумнели.

— Они уже отгрызли, — сказал я.

— Как так отгрызли? Что же мне больно не было?

— А перегибщик линии — это тебе не подкулачник?

— Он, стерва.

— А он больно сделал коллективизации или не больно?

— Факт — больно, гада такая!

На том мы и расстались, чтобы сжать. Но после полуночи Уповев постучал мне в голову, и я проснулся.

— Слушай, ты ведь мне ложь набрехал! — произнес Уповев. — Я лег спать и одумался: это ведь не кулаки нам хвост отгрызли, а мы им классовую голову оторвали! Ты кто? Покажи документы!

Документов я с собой не носил. Однако Уповев простил мне это обстоятельство и экстренно проводил ночью за черту колхоза.

— Я Полное собрание сочинений Владимира Ильича ежедневно читаю, я к товарищу Сталину скоро на беседу пойду, — чего ты мне голову морочишь?

— Я слышал, что один перегибщик так говорил, — слабо ответил я.

— Перегибщик или головокруженец есть подкулачник: кого же ты слушаешь? Эх, гадина! Пойдем назад ночевать.

Я отказался. Уповев посмотрел на меня странно беззащитными глазами, какие бывают у мучающихся и сомневающих людей.

— По-твоему, наверное, тоже Ленин умер, а один дух его живет? — вдруг спросил он.

Я не мог уследить за тайной его мысли и за поворотами настроения.

— И дух и дело, — сказал я. — А что?

— А то, что ошибка. Дух и дело для жизни масс — это верно, а для дружелюбного чувства нам нужно иметь конкретную личность среди земли.

Я шел молча, ничего не понимая... Уповев вздохнул и дополнительно сообщил:

— Нам нужен живой — и такой же, как Ленин... Засею землю — пойду Сталина глядеть: чувствую в нем свой источник. Вернусь, на всю жизнь покоен буду.

Мы попрощались.

— Вертайся, черт с тобой! — попросил меня Уповев.

Из предрассудка я не согласился и ушел во тьму. Шаги Уповева смолкли на обратном пути. Я пошел неуверенно, не зная, куда мне идти и где осталась позади железная дорога. Глушь глубокой страны окружала меня, я уже забыл, в какой области и районе я нахожусь, я почти потерялся в несметном пространстве.

Но Уповев бы и здесь никогда не утратил стойкости души, потому что у него есть на свете центральная дорога и любимые им люди идут впереди него, чтобы он не заблудился.

Все более уважая Уповева, я шел постепенно вперед своим средним шагом и вскоре встретил степной рассвет утра. Дороги подо мной не было; я спустился в сухую балку и пошел по ее дну к устью, зная, что чем ближе вода к поверхности, тем скорее найдешь деревню.

Так и было. Я заметил дым ранней печки и через краткое время вошел на глинистую, природную улицу неизвестного селения. С востока, как из отверстия, дуло холодом и сонливой сыростью зари. Мне захотелось отдохнуть, я свернул в междуусадебный проезд, нашел тихое место в одном плетневом закоулке и улегся для сна.

Проснулся я уже при высоком солнцестоянии — наверно, в полдень. Невдалеке от меня, среди улицы, топтался народ, и посреди него сидел человек без шапки, верхом на коне. Я подошел к общему месту и спросил у ближнего человека: кто этот измученный на сильной лошади?

— Это воинствующий безбожник — только сейчас прибыл. Он давно нашу местность обслуживает, — объяснил мне сельский гражданин.

Действительно, товарища Щекотулова, активно отрицавшего бога и небо, знали уже довольно подробно. Он уже года два как ездил по деревням верхом на коне и сокрушал бога в умах и сердцах отсталых верующих масс.

Действовал товарищ Щекотулов убежденно и просто. Приезжает он в любую деревню, останавливается среди людного кооперативного места и восклицает:

— Граждане, кто не верит в бога, тот пускай остается дома, а кто верит — выходи и становись передо мной организованной массой!

Верующие с испугу выходили и становились перед глазами товарища Щекотулова.

— Бога нет! — громко произносил Щекотулов, выждав народ.

— А кто ж главный? — вопрошал какой-нибудь темный пожилой мужик.

— Главный у нас — класс! — объяснял Щекотулов и говорил дальше. — Чтоб ни одного хотя бы слабоверующего человека больше у вас не было! Верующий в гада-бога есть расстройщик социалистического строительства, он портит, безумный член, настроение масс, идущих вперед темпом! Немедленно прекратите религию, повысьте уровень ума и двиньте бывшую церковь в орудие культурной революции! Устройте в церкви радио, и пусть оно загремит взрывами классовой победы и счастьем достижений!..

Передние женщины, видевшие возбуждение товарища Щекотулова, начинали утирать глаза от сочувствия кричащему проповеднику.

— Вот, — обращался товарищ Щекотулов. — Сознательные женщины плачут передо мной, стало быть, они сознают, что бога нет.

— Нету, милый, — говорили женщины. — Где же ему быть, когда ты явился.

— Вот именно, — соглашался товарищ Щекотулов. — Если бы он даже и явился, то я б его уничтожил ради бедноты и середнячества.

— Вот он и скрылся, милый, — горевали бабы. — А как ты уедешь, то он и явится.

— Откуда явится? — удивлялся Щекотулов. — Тогда я его покараулю.

— Чего ж тебе караулить: бога нету, — с хитростью сообщали бабы.

— Ага! — сказал Щекотулов. — Я так и знал, что убедил вас. Теперь я поеду дальше.

И товарищ Щекотулов, довольный своей победой над отсталостью, ехал проповедовать отсутствие бога дальше. А женщины и все верующие оставались в деревне и начинали верить в бога против товарища Щекотулова.

В другой деревне товарищ Щекотулов поступал так же: собирал народ и говорил:

— Бога нет!

— Ну-к что ж, — отвечали ему верующие. — Нет и нет, стало быть, тебе нечего воевать против него, раз Иисуса Христа нет.

Щекотулов становился своим умом в тупик.

— В природе-то нет, — объяснял Щекотулов, — но в вашем теле он есть.

— Тогда залезь в наше тело!

— Вы, граждане, обладаете идиотизмом деревенской жизни. Вас еще Маркс Карл предвидел.

— Так как же нам делать?

— Думайте что-нибудь научное!

— А про что думать-то?

— Думайте, как, например, земля сама по себе сотворилась.

— У нас ум слаб: нас Карл Маркс предвидел, что мы — идиотизм!

— А раз вы думать не можете, — заключал Щекотулов, — то лучше в меня верьте, лишь бы не в бога.

— Нет, товарищ оратор, ты хуже бога. Бог хотя невидим, и за то ему спасибо, а ты тут — от тебя покоя не будет.

Последний резон был произнесен при мне. Он заставил Щекотулова обомлеть на одно мгновение, — видимо, мысль его несколько устала. Но он живо опомнился и мужественно накричал на всех:

— Это контрреволюция! Я разрушу ваш подкулацкий Карфаген!

— Стоп, товарищ, сильно шуметь! — сказал с места невидимый мне человек.

И я услышал голос, говорящий о Щекотулове как о помощнике религии и кулацком сподручном. Человек говорил, что религия — тончайшее дело, ее ликвидировать можно только посредством силы коллективного хозяйства и с помощью высшей и героической социальной культуры. Такие же, как Щекотулов, лишь пугают народ и еще больше обращают его лицо к православию. — Щекотуловым не место в рядах районных культработников.

Вторым выступил я, потому что почувствовал ярость против Щекотулова и революционную страсть перед массами; я тщательно старался объяснить религию, как средство доведения народа капиталистами до потери сознания, а также рассказал, насколько мог, правильные способы ликвидации этого безумия; при этом я опорочил Щекотулова, борющегося с безумием темными средствами, потому что Щекотулов есть тот левый прыгун, с которым партия сейчас воюет.

Щекотулов, дав мне закончить, быстро повернул лошадь и решительно поскакал вон из деревни, имея такой вид, будто он поехал вести на нас войска.

— Ишь, гадюка; в колхозы он небось ездить перестал! — сказал кто-то ему вслед. — Там враз бы ему в разум иголку через ухо вдели! Маркс-Энгельс какой!

Деревня, где я теперь присутствовал, называлась 2-м Отрадным, 1-е же находилось еще где-нибудь. 2-е Отрадное до сих пор еще не было колхозом, и даже ТОЗа в нем не существовало, точно здесь жили какие-то особо искренние единоличники или непоколебимые подкулачники. Со вниманием, как за границей, я шел по этой многодворной деревне, желая понять по наглядным фактам и источникам уцелевший здесь капитализм.

На завалинке одной полуистлевшей избы сидел пожилой крестьянин и, видимо, горевал.

— О чем ты скучаешь? — спросил я его.

— Да все об колхозе! — сказал крестьянин.

— А чего же о нем скучать-то?

— Да как же не горевать, когда у всех есть, а у нас нету! Все уж давно организованы, а мы живем как анчутки! Нам так убыточно!

— А тебе очень в колхоз охота?

— Страсть! — искренно ответил крестьянин.

Либо он обманывал меня, либо я был дурак новой жизни. Я постоял в неизвестности и отошел посмотреть на местный капитализм. Он заключался в дворах, непримиримо желавших стать поместьями, и в слабых по виду людях, только устно тосковавших по колхозу, а на самом деле, может быть, мечтавших о ночной чуме для всех своих соседей, дабы наутро каждому стать единственным хозяином всего выморочного имущества. Но, с другой стороны, на завалинках сидели горюны о колхозном строительстве, а самого колхоза не было. Стало быть, здесь существовала какая-то серьезная загадка. Поэтому я ходил и исследовал, будучи весь начеку.

Вечером я попал и избу-читальню, узнав за весь день лишь одно — что все хотят в колхоз, а колхоз не учреждается. В избе-читальне стояло пять столов, за которыми заседали пять комиссий по организации колхоза. На стенах висели названия комиссий: «уставная», «классово-отборочная», «инвентарная», «ликвидационно-кулацкая и, наконец, — «разъяснительно-добровольческая».

Послушав непрерывную работу этих комиссий, я понял, что такого большого количества глупых людей, собранных в одном месте, быть не может. Стало быть, в комиссиях сидели

подкулацкие деятели, желавшие умертвить колхозное живое начало в бесконечных, якобы подготовительных, бюрократических хлопотах. Я поговорил с председателем «разъяснительно-добровольческой» комиссии — мне хотелось узнать, в чем заключается его работа.

— Боимся, чтобы принуждения не было: развиваем добровольчество! — сообщил председатель.

— Развили уже, или не удастся? — спросил я.

— Как вам сказать? Конечно, зная массовой разъяснительной работы мы держим высоко, но кто его знает, а вдруг единоличники еще не убедились! Перегнуть ведь теперь никак нельзя, приходится держать курс на святое чувство убедительности.

Мне показалось, что председатель несколько скрытный человек.

— Давно работают ваши комиссии?

— Да уж четвертый месяц. Зимой-то мы не управились организовать, а теперь ведем массовую кампанию.

Окружающие комиссии что-то тихо писали, а мужики заунывно ожидали колхоза на завалинах. Один из таких ожидальцев пришел потом к председателю комиссии для дачи сведений. Его спросили:

— Чувствуешь желание коллективизации?

— Еще бы! — ответил крестьянин.

— А отчего же ты чувствуешь?

— От безлошадности. Ты ведь, — обратился он к председателю, — мне исполу пашешь, а вон лошадиная бригада исполу и пашет, и сеет, и зерно на двор везет. Только та лошадиная колонна на колхозы работает, а на нас не управляется.

— Так это же твое рваческое настроение, а не колхозное чувство! — даже удивился председатель. — Ты, значит, еще не убежден в колхозе!

— Да как тут понять, — выразился безлошадный. — Колхоза мы почти что и не чувствуем — чувствуем, что нашему брату жить там барыш!

— Барыш — рвачество, а не сознание, — ответил председатель. — Придется нам еще шире повести разъяснительную кампанию!..

— Веди ее бессрочно, — сказал безлошадный, — тебе ведь колхоз — убыток...

Председатель терпеливо промолчал.

Легко было догадаться, что здешние зажиточные и подкулачники стали чиновниками и глубоко эксплуатировали принцип добровольности, откладывая организацию колхоза в далекое время какой-то высшей и всеобщей убежденности. Неизвестно, насколько здесь имелось потворство со стороны района, только вся кулацкая норма населения деревни (около пяти процентов) сидела в комиссиях, а бедняки и средние, видя в окружающих колхозах развитие усердного труда и жизненного довольства, считали свое единоличие убытком, упущением и даже грехом, кто еще остаточно верил в бога. Но зажиточные, ставшие бюрократическим активом села, так официально-косноязычно приучили народ думать и говорить, что иная фраза бедняка, выражающая искреннее чувство, звучала почти иронически. Слушая, можно было подумать, что деревня населена издевающимися подкулачниками, а на самом деле это были бедняки, завтрашние строители новой великой истории, говорящие свои мысли на чужом двусмысленном, кулацко-бюрократическом языке. Бедняцкие бабы выходили под вечер из ворот и, пригорюнившись, начинали голосить по колхозу. Для них отсутствие колхоза означало переплату лошадным за пахоту, побирушничество за хлебом до новины по зажиточным дворам, дальнейшая жизнь без ситца и всяких обновок и скудное сиротство в голой избе, тогда как колхозные бабы уже теперь гуляют по полости в новых платках и хвалятся, что говядину порциями едят. Одной завистью, одним обычным житейским чувством бедняцкие бабы вполне точно понимали, где лежит их высшая жизнь.

Но внутри самой ихней деревни сидел кулацкий змей, а единоличные бедняки ходили в гунях, никогда не пробуя колхозного мяса.

Удивительно еще то, что колхозные комиссии ни разу не собирали во 2-м Отрадном бедняцко-средняцкого пленума, откладывая такое дело вплоть до невероятной проработки всей гущи оргвопросов, которые ежедневно выдумывали сами же члены-подкулачники.

Посоветовавшись с некоторыми энергичными бедняками, я написал письмо товарищу Г. М. Скрынко на Самодельный хутор, поскольку он был наиболее разумным активистом прилегающего района.

«Товарищ Григорий! Во 2-м Отрадном колхозное строительство подпольно захвачено зажиточно-подкулацкими людьми, женская беднота заявляет свое страдание непосредственно песнями на улицах. А твой район и возглавляемая тобой МТС почти что рядом. Советую тебе заехать прежде в районную власть и, узнав, нет ли там корней каких-либо, расцветших целыми ветвями во 2-м Отрадном, прибыть сюда для ликвидации бюрократического очага».

Один бедняк взялся свезти письмо товарищу Г. М. Скрынко, я же, убежденный, что Скрынко явится во 2-е Отрадное и ликвидирует бюрократическое кулачество, пошел дальше из этого места.

Погода разведрилась, в природе стало довольно хорошо, и я шел со спокойной за колхозы душой. Озимые поколения хлебов широко росли вокруг, и ветер делал бредущие волны по их задумчивой зеленой гуще — это лучшее зрелище на всей земле. Мне захотелось уйти сегодня подальше, минуя милые колхозы, дабы найти вдали что-нибудь более выдающееся.

Вечером солнце застало меня вблизи какого-то парка: от проезжей дороги внутрь парка вела очищенная аллея, а у начала аллеи находилась арка с надписью: «С.-х. артель имени Награжден-ных героев, учрежденная в 1923 г.». Здесь, наверное, общественное производство достигло высокого совершенства. Люди, может быть, уже работали с такой же согласованной легкостью, как дышали сердцем. С этой ясной надеждой я свернул со своего пути и вступил на землю коммуны. Пройдя парк, я увидел громадную и вместе с тем уютную усадьбу артели героев. Десятки новых и отремонтированных хозяйственных помещений в плановом разумном порядке были расположены по усадьбе; три больших жилых дома находились несколько в стороне от служб, вероятно, для лучших санитарно-гигиенических условий. Если раньше эта усадьба была приютом помещику, то теперь не осталось от прошлого никакого следа. Не желая быть ни гостем, ни нахлебником, я пошел в контору артели и, сказав, что я колодезный и черепичный мастер, был вскоре принят на должность временного техника по ремонту водоснабжения и по организации правильного водопользования. В тот же час мне была отведена отдельная комната, предоставлена постель, и меня, как служебное лицо, зачислили на паек. С давно исчезнувшим сознанием своей общественной полезности я лег в кровать и предался отдыху авансом за будущий труд по водоснабжению.

Поздно вечером я посетил клуб артели, интересуясь ее членским составом. В клубе шла пьеса «На командных высотах», содержащая изложение умиления пролетариата от собственной власти, то есть чувство, совершенно чуждое пролетариату. Но эта правая благонамеренность у нас идет как массовое искусство, потому что первосортные люди заняты непосредственным строительством социализма, а второстепенные усердствуют в искусстве.

Члены артели героев, устроенной по образцу якобы коммуны, имели спокойный чистоплотный вид и глядели на героев действия пьесы как на самих себя, отчего еще более успокаивались и удовлетворялись. Четыре девочки-дочки стояли по углам сцены и держали десятилинейные лампы; одеты девочки были в белые платья, на головах их лежали густые прически, и весь их вид напоминал старинных гимназисток.

Кроме нормальной сытости лиц, ничего в тот вечер я заметить в артельщиках не успел.

Проработав же несколько дней на ремонте трубчатого колодца, я узнал достаточно многое и неутешительное для себя. Своими глазами я, пожалуй, не сумел бы все разглядеть, но со мной на колодце работали два члена артели, и они мне объяснили некоторые обстоятельства про тех, кто тщетно хотел бы уподобиться действительным героям жизни.

Эти два члена, оказывается, были в артели недавно и ненавидели почти всех другие артельщиков; причиной такого безумного явления было следующее: рик и сельские партячейки вели политику на пополнение артели «Награжденные герои» бедняками-активистами; правление же артели не хотело принимать никаких новых членов, ибо для правления хороши были только старые, сжившиеся между собой люди. Но кто же были эти старые члены артели, ее основатели? Может быть, тайные кулаки?

— Что ты?! — удивились два человека, поставленные со мной на ремонт колодца. — Это сплошное геройство гражданской войны! Их партия на все зубы пробовала, ничего не выходит: вполне наши люди!

— А отчего же они никого в свою артель пускать не хотят?

Бедняки несколько подумали.

— Видишь ты, в семнадцатом году и они бедняками были — стало быть, не было у них ничего, кроме своего класса, а теперь накопили бугор имущества, а класс оставили в покое...

Однако невозможно было, чтобы все герои битв с белогвардейцами стали хозяйственными рачителями и врагами окрестной бедноты: куда же могла исчезнуть их основная беззаветная натура? И я узнал, что действительно иные основатели артели уже давно умерли от болезней и плохо залеченных ран, другие же бросили артель и ушли безвозвратно в города, третьи же остались в артели навеки. Эти третьи были героями не от классовых органических свойств, а от каких-то мгновенных условий фронта, то есть не помня себя, а теперь они эксплуатировали свои нечаянные подвиги со всей хваткой буржуазной мелочи.

Председатель артели товарищ Мчалов пришел на нашу работу в конце четвертого дня. Я увидел полнотелого пожилого человека с горюющей заботой на лице, но со старым красноармейским шлемом на голове.

— Озимые-то, говорят, все в черноземной области померзли, — сказал он мне. — Чего только кушать будем в будущем операционном году?.. И сейчас тоже — нужен бы дождь под овсы, а его нет и нет!..

— Ты бы лучше кулацкий картуз надел в голову, — сказал я ему. — А красноармейский убор лучше бы снял! Кто тебе врет и кого ты слушаешь!..

— Да, кажется мне так, а люди сообщают, — произнес председатель. — Ведь сердце-то болит!.. Слушай, ты как колодезь исправишь, так уходи, а то за тебя в соцстрах придется платить, прозодежду покупать, ты ведь не член, от тебя заботы не оберешься, а воды мы и без тебя напьемся!..

Обедать мне полагалось в общей столовой, обед был плохой, и я голодал, не понимая, почему члены артели так упитаны в теле. Потом все то же оппозиционно настроенные бедняки-новочленцы показали мне, что артельщики обедают еще вторично по своим комнатам. Обед же в столовой совершался как можно беднее, дабы постоянно торчащим на усадьбе артели окрестным беднякам не казалось, что в артели сладко едят.

Чем больше я жил в этой артели, тем больше убеждался, что ее идеология — ханжество, несмотря на значительное общее достояние, несмотря на крупные производственные успехи. Артельщики-герои, особенно перед посторонними мужиками, постоянно ныли о плохом урожае прошлого года и о том, что жизнь в артели убыточна и придется, видно, скоро на дворы разделяться и уходить в старину.

Все это было, конечно, лицемерие. Годовой доход на каждого члена артели по крайней мере вдвое превышал таковой же доход на местную душу середняка-единоличника, а доля основного капитала, падающая на каждого артельщика, приближалась к тысяче рублей.

Но откуда же это ханжество, эта хитрая скрытая борьба с партией и бедняками за сохранение только для себя своего удела?

Сама артель находилась островком среди довольно просторного если не моря, то озера единоличников. Бедняцкий актив ближайших деревень, а также советско-партийные

организации давно имели желание сделать эту артель центром, источником опыта общественно-классового хозяйства для большого колхоза-комбината. Но артель, состоявшая из бывших героев, геройски сопротивлялась, — разрушать же высокое в производственном смысле хозяйство ни активисты-бедняки, ни партийцы не хотели. Наоборот, все их попытки поставить артель во главе колхозного движения основывались на добровольном соглашении с правлением артели. Но соглашение это не удавалось. Больше того, за последние 4 года артель приняла в новые члены только 10 человек бедняков, и то под большим давлением всех организаций. Причем двое из этих 10 обжились в артели, прониклись ее скопческим духом делячества, трое вышли назад, променяв сундуки артели на воздух большевистского ветра, пятеро же составляли в артели настоящую большевистскую оппозицию сектантскому правлению; с двоими из них я был знаком. Понятно, эти пятеро не имели решающего значения в артели, их даже при первом случае могли вычистить из членства. Но они-то, по-моему, и есть действительный зародыш будущего, большевистского правления артели, которое и должно сменить бывших героев и нынешних ханжей и сладкоежек.

Во всем районе, где находилась артель имени Награжденных героев, в колхозах было лишь процентов двадцать бедняков и середняков; больших колхозных массивов не существовало еще вовсе, и все маленькие точечные колхозы, как и артель, варились в своем деляческом соку. Отсутствие массовости колхозного движения, святое ханжеское соблюдение принципа добровольности (по существу же развитие пассивности в лучших людях бедноты), какая-то безветренность всей обстановки и создала, вместо колхозной нарастающей реки, лужицы-колхозики и целое болото такой артели.

Доделав порученную мне колодезную работу, я получил десять рублей и должен был уходить. Но оставлять такую роскошно-производственную артель новорастущим феодалам было весьма жалко. Ведь артель в прошлом, средне благоприятном году дала урожая пшеницы почти по две тонны с гектара, одних фруктов было отпущено кооперации на двадцать пять тысяч рублей. Было ясно, что это хозяйственное место может объединить, поставить на ноги и двинуть вперед несколько сот бедняцких хозяйств. Так зачем же тут содержать несколько десятков неподвижно жиреющих «героев»?

Интересно еще сообщить, что в артели было всего два трактора. Все работы совершались вековыми старинными способами; хорошие же результаты объяснялись крайним трудолюбием, дружной организацией и скупостью к своей продукции артельщиков; в этих качествах им нельзя отказать, и эти качества должны остаться и тогда, когда эта ханжеско-деляческая артель станет большевистской. Что же будет в артели, если снабдить ее тракторами, удобрениями, приложить к ее угодыям вместо сухого рачительства ударный труд, сменить имущественного скопца на большевика и агронома и, главное, сделать артель действительно трудовым товариществом крестьян-бедняков?

Двое оппозиционно настроенных членов артели и я долго обсуждали болезненные предметы артели, не видя, как найти способ их уничтожения.

Один член в конце беседы спросил меня:

— А что у нас сильнее и лучше всего?

Я ему сказал, что это диктатура пролетариата.

— Пойду в Окрисполком, пойду в окружной комитет партии, попрошу сменить наше правление артели посредством диктатуры пролетариата, — сказал товарищ. — Везде коммуны и старые артели ведут колхозы, а у нас одна мертвая пробка.

— Наверное, наша артельная коммуна — это не коммунизм, — произнес другой артельщик.

— Наша артель вроде кулацкого товарищества на трудовых паях и на государственном имуществе, — сообщил я некоторое определение.

— А ведь учредители — герои гражданской войны! — с жалостью сказал один из присутствующих членов.

— Но время побеждает героев и делает из них одну смехотворность!

Это сказал я, но коммунары тут же меня опровергли.

— Ты ложь говоришь: есть такие герои, которые никогда не опаздывают против времени, они его ведут позади себя!

Ввиду очевидности я, конечно, согласился. После этого мы собрали одному артельщику общие средства, и он пошел призывать сюда в помощь пролетарскую диктатуру.

Человек ушел и через два дня вернулся. Во 2-м Отрадном, оказывается, уже сидела какая-то комиссия из областного города, которая установила существенную связь между правлением артели пожилых героев и пятью колхозными комиссиями 2-го Отрадного.

Таким образом, было установлено еще до прибытия товарища Скрынко, что артель «Награжденные герои» была лишь агентурой подкулацкой стихии, действовавшей во 2-м Отрадном, и — обратно, артель была крепостью зажиточных групп единоличников. Связь эта, в сущности, была известна давно: она выражалась в брачных узах между членами артели и подкулачницами и наоборот. То, что было связано по классу, то затем было укреплено плотью.

Ввиду этого тайной деревенской буржуазии приходил конец, и я с удовлетворением отправился отсюда в очередную даль, какая была мне видна из усадьбы артели.

Под религиозный праздник пасхи я пошел в небольшой колхоз «Сильный поток» и был здесь свидетелем конца жизни Филата-батрака, историю которого я постараюсь сейчас неприкосновенно изложить.

Филата приняли в колхоз самым последним, когда уже все середняки успели записаться.

— Ты всегда справишься войти в членство, — говорили Филату руководящие лица. — Ты же человек в классовом размере абсолютный!

И Филат ждал, не зная, чему ему радоваться, поскольку он еще не член колхоза. Со скучным выражением лица он ходил по колхозу и устранял прочь всякие неполадки. Была ли открыта дверь в избу, покачнулся ли плетень, иль просто петух ходил отдельно от кур — Филат притворял дверь, устанавливал плетень и подгонял к курам петуха.

Во время ветра Филат выходил на тот край колхозной деревни, куда направлялся ветер, и глядел, чтобы ветер не выдул из деревни чего-либо полезного. А если что полезное ветер уносил, то Филат подхватывал ту полезную вещь и возвращал ее обратно в обобществленный фонд.

И так жил Филат в усиленных заботах о колхозном добре и порядке, не будучи членом артельного хозяйства.

К Филату давно все привыкли, и он был необходим в колхозе. Когда у кого рожала баба — звали Филата вести хозяйство и смотреть за малыми детьми; кроме того, Филат мог чистить трубы, умел отучивать кур от желания быть наседками и рубил хвосты собакам для злобы.

Такого человека правление колхоза решило принять на первый день пасхи, дабы вместо воскресенья Христа устроить воскресенье бедняка в колхозе.

Накануне пасхи Филата одели в роскошную чистоплотную одежду, взяв ее из колхозного кооператива, а старую одежду Филата повесили в особый амбар, который назывался «музеем бедняка и батрака, жившего в эпоху кулачества как класса».

Избу-читальню загодя украсили флагом и лозунгами, а утром на пасхальный день Филата вывели на крыльцо, около которого стояла, собравшись, вся колхозная масса. Филат, увидев солнце на небе и организованный народ внизу, обрадовался всеми силами своего тела и захотел жить в будущем еще более преданно и трудоспособно, чем он жил дотопе.

— Вот, — сказал активный председатель всему колхозу, — вот нам новый член нашего колхоза — товарищ Филат. Но колокол звучит над унылыми хатами, не поп поет загробные песни, не кулак, наконец, сало жует, а наоборот, Филат стоит, улыбается, трудящееся солнце сияет над нашим колхозом и всем мировым интернационалом, и мы сами чувствуем непонятную радость в своем туловище! Но отчего же, непонятно, наша радость? Оттого что Филат самый был гонимый, самый молчаливый и самый мало кушавший человек на свете! Он никогда не

говорил слов, а всегда двигался в труде — и вот теперь он воскрес, последний бедняк, посредством организации колхоза!.. Скажи же, Филат, нам, что теперь ты, грустный труженик, должен сиять на свете вместо кулацкого Христа...

Филат улыбнулся ближнему народу и всей окрестной цветущей природе.

— Я, товарищи, говорю тихо, потому что меня никогда не спрашивали. Я думал только, чтоб было счастье когда-нибудь в батрацком котле, но боюсь хлебать то счастье — пусть уж лучше другим достается...

Здесь Филат побелел лицом и прислонился к телу председателя колхоза.

— Что ты, Филат?! — закричал весь колхоз. — Живи смелей, робкая душа, ты теперь членом будешь! Проповедуй нам труд и усердие, последний человек!

— Могу, — тихо сказал Филат, — только сердце мое привыкло к горю и обману, а вы мне даете счастье — грудь не выдержит.

— Ничего, обтерпишься! — крикнули колхозники. — Глянь на солнце, дайте ему воздуху...

Но Филат настолько ослаб от счастья, что опустился на траву и стал умирать от излишнего биения сердца.

Филата вынесли на траву и положили лицом к небесному свету солнца. Все замолкли и стояли неподвижно.

И вдруг раздался голос какого-то притаившегося подкулачника:

— Значит, есть Иисус Христос, раз он покарал Филата-батрака!

Филат услышал то слово сквозь тьму своего потухающего ума и встал на ноги, потому что если он сумел вытерпеть 37 лет жизни, то мог стерпеть и превозмочь смерть, хотя бы на последнюю минуту.

— Врешь, тайный гад! Вот он я, живой — ты видишь, солнце горит над рожью и надо мной! Меня кулаки тридцать лет томили, и вот меня уже нет.

Вслед за тем Филат шагнул два шага, открыл глаза и умер с побелевшим взором.

— Прощай, Филат! — сказал за всех председатель, — Велик твой труд, безвестный знаменитый человек.

И каждый колхозник снял шапку и широко открыл глаза, чтобы они сохли, а не плакали.

Невдалеке от колхоза «Сильный поток» я встретил железнодорожную насыпь и, отойдя вдоль нее, достиг станции и поехал поездом.

В течение одних суток я уехал далеко, что сошел с поезда уже в Острогожском округе, на родине ценнейшей во всем СССР Михновской овцы. Однако Острогожский округ не имеет возможности всерьез и планомерно заняться разведением последней, ввиду того что сухих здоровых для овец пастбищ в округе нет, а сырые подлунные и заболоченные пастбища страшно заражены всевозможными инфекциями и в особенности почечной двуусткой овец.

Селения Острогожского района — Ольшаны, Гумны, Писаревка, Осиповка, Гнилое, Средне-Воскресенское, Рыбенское, Луки, Александровка — и других районов совершенно отказались от разведения и выращивания овец, так как последние, поголовно пораженные фациолезом, гибнут тысячами на заболоченных пастбищах.

Далеко не полный учет говорит о гибели в течение двух последних лет до 40000 пораженных почечно-глистной болезнью овец — на общую сумму за округлением 500000 рублей.

Все препараты, применяемые при медикаментном методе лечения, не достигают желаемых результатов, и население и ветперсонал убедились в совершенной бесцельности всякого лечения при наличии заболоченных пастбищ, так как овцы каждую минуту, с каждым стеблем болотной травы получают все новую и новую порцию глистов.

С ветеринарно-санитарной точки зрения, опасно и экономически невыгодно отдать заболоченные места микробам-бактериям и глистам для их пышной жизни и лишить скот здоровых кормов, которыми так беден Острогожский округ.

Исходя из вышесказанного, Окрветотдел в своих докладах и планах считает мелиорацию — осушение болот и заболоченных пастбищ — единственным средством избавить овцеводство от постоянной угрозы гибели и находит существенно необходимым немедленную организацию работ по осушке заболоченных пастбищ, в первую очередь по течению реки Тихой Сосны с ее притоками, как прорезывающую весь округ, пойма которой (массив поймы 30000 гектаров) после осушения станет экономической базой округа, а также будет разрешена проблема разведения Михновской овцы во всем округе.

Но когда-то во всем Острогжском округе были девственные пастбища, хотя это было не только до появления здесь овцы, но и до человека — еще прежде оседания первых поселений людей по берегам Тихой Сосны, — ибо именно к тому начальному времени относится зарождение оврагов в меловых отложениях в связи с хозяйственной деятельностью человека. Овраги же, выходя своими устьями в пойму реки, выносили в нее почвенный материал и тем создавали затухание речного потока, начиная долгую эпоху заболачивания.

Если посмотреть на всю площадь Острогжского округа, то можно увидеть великое народнохозяйственное бедствие от быстрого роста болот.

Но со смертью рек не только дохнут овцы и падает животноводство — начинает умирать и человек. Злокачественная хроническая малярия сильно распространена среди жителей долины Тихой Сосны.

И было бы, конечно, малодушием, установив такое грозное бедствие, не попытаться вступить с природой в сражение для отвоевывания у нее громадных бросовых площадей, чтобы дать скоту питательный, безболезненный корм, а трудящимся людям продукцию и здоровье.

Эта борьба с природой за десятки тысяч гектаров заболоченных площадей началась в 1925 году. Проект регулировочно-осушительных работ по реке Тихая Сосна охватывает пойменный массив протяжением в 40 километров и на площади в 80 квадратных километров. Примерно треть всего объема работ уже выполнена; сами работы с 1927 года механизированы, то есть чистит и углубляет реку не человек, стоящий с лопатой в воде, а плавучий экскаватор — причем эта затерянная в болотах машина может служить некоторой общей гордостью советской землечерпательной техники, ибо машина оригинальной конструкции и впервые сделана в Советском Союзе (ни до войны, ни после в России подобные машины не делались, их покупали обычно в Америке). Но советские инженеры применяют для борьбы с болотами не только машины, а и взрывную технику, разрушая слежавшиеся насосы и карчу, душащие реку, динамитом.

Насколько население заинтересовано в успехе работ, видно из того, что участие населения в затратах, преимущественно натуральным трудом, составляет 52% исполнительной сметы. Но эти данные относятся к эпохе мелиоративных товариществ, то есть ко времени простейших целевых объединений крестьянства; теперь же, когда в долине Тихой Сосны есть мощные колхозы, надо ожидать гораздо более высокого темпа осушительных работ и еще более энергичного участия в них населения.

Придолинное крестьянство еще в 1924 году, когда я был на Тихой Сосне, уже знало, что вести пойменное хозяйство, тем более создать из болота луга одним напряжением единоличного хозяйства нельзя — и в 1925 году, к моменту начала работ, все заинтересованное обедневшее крестьянство объединилось в мелиоративные товарищества, то есть в зачаточную форму производственного кооператива.

Таковы богатые факты на этой бедной долине, где и посейчас идет тяжелая борьба за создание девственной, погибшей родины Михновской овцы.

Выбравшись из этой дружно трудящейся долины на суходолы, я вошел в колхозную деревню «Утро человечества», прельщенный как хорошим названием, так и добавочным лозунгом на вывеске колхоза, взятым из метрической системы:

«Всем угнетенным народам — на долгие времена». Ясно, что это относилось к колхозной организации жизни и труда.

У заставы колхоза стоял некий, старый уже, человек, с милым, но грозным лицом, и смотрел на меня.

— Ты кто? — спросил он.

Я ему приблизительно ответил, так как вопрос, в сущности, не очень прост.

— А ты не кадр?

— Кадр.

— Где служишь?

— В уме.

— Ну, входи, пожалуйста, — это хорошее учреждение. Пойдем, я тебя яичницей покормлю. А я, знаешь, кто?

— Кто?

— Да председатель всей бузы новой жизни, товарищ Пашка. Здравствуй!

— Здравствуй!

Раньше я боялся, гожусь ли я в новую жизнь, а теперь видел, что чем жизнь новее, тем люди ко мне проще и родней.

Веселая жена Пашки живо и прилежно сделала нам яичницу, а мы стали ее есть. Во время пищи я загляделся на супругу Пашки — она была красива до прелести, хотя в общем уже пожилая; но не в этом заключалась ее привилегия, а в том, что она веселая и уверенная в своей жизни и, кроме того, мудрая и передовая, как я узнал впоследствии.

Мне уже приходилось встречать ряд колхозниц, подобных этой женщине, и я обращал свое внимание на их повеселевший нрав. Отчего это получалось, трудно сформулировать, поскольку на колхозницах лежит сейчас больше забот и тревог, чем на единоличницах; однако же единоличницы в большинстве своем лишь традиционно-унылые, беспросветные бабы.

— Так, стало быть, ты кадр! — поев, высказался Пашка (отчества его я еще не знал) и тронул меня в грудь.

— Кадр, — подтвердил я.

— Ну а вдруг ты ложный! — догадливо испугался Пашка. — Ответь мне на общий вопрос: сколько нужно кирпичей, чтоб построить научную избушку-читальню?

Второй проверочный вопрос Пашки был из трудной области:

— Говорят, что мир бесконечен и звездам нет счета! Неверно, товарищ! Это буржуазная идеология: буржуям выгодно, чтоб мир был такой широкий, дабы гадам не тесно жилось и было куда бежать от пролетариата. А по-моему, мир имеет конец и звездам есть окончательный счет.

Я подтвердил, что Пашка говорит вполне справедливо: вселенная не может быть неопределенно бесконечной.

— А отчего электричество железо любит, а стекло не уважает?

— Есть ли в веществе какие законы или там одни только тенденции? Вот, говорят, что можно оделять две палки, равные друг другу! Чушь! Я четыре недели стругал две линейки, и все же на полволоска они никак не сходились! Где же законы равенства? Одни только тенденции и более нет ничего!

По возможности, я отвечал на все его вопросы.

— Ну, достаточно! — определил часа через два Пашка. — Оставайся у нас колхозным техником — решай великую задачу, чтобы нам догнать и перегнать и не умориться. Можешь? А мы хотим сделать тут такой колхоз, чтоб он был, как автомобиль «форд», годен по организационной форме и мужику-африканцу и бедняку-индейцу. Ясно тебе?

— Ясно-то ясно, только это не нужно: африканский мужик и сам не дурак.

— Он-то нет, а ты-то дурак! Ведь СССР — самая передняя до революции держава! Отчего же нам не делать для всего отсталого света социальные заготовки?! А уж по нашим заготовкам пускай потом всемирная беднота пригоняет себе жизнь в меру и впрок!..

Пожив и потрудившись в «Утре человечества», я узнал про товарища Пашку все подробности его истекшей жизни. Эти подробности обозначали Пашку как великого человека,

выросшего из мелкого дурака — пусть даже некоторые его действия покажутся неловкими и смешными: ведь мы имеем перед собой только начало будущего человека.

Всем своим воспитанием и просвещением он был обязан исключительно своей жене, которая его довела до ума и активности. Вот как дело было.

В старину, до революции, Павла Егоровича никто не звал полностью, хотя он жил уже в полном возрасте, — все его называли Пашкой, потому что он был глуп, как грунт или малолетний. В то прошедшее время он скупал в земельных обществах овраги и старые колодцы — ему хотелось иметь хоть какое-нибудь имущество, чтобы сознавать свой смысл жизни в государстве. На приобретение истинных домов и форменной скотины у Пашки не хватало средств, поэтому ему приходилось считать своими усадьбами овраги. Такие места ему доставались дешево: однажды за полведра водки он скупил в волости все болота и песчаные угодья.

— Бери — владей, — выпив и утерев рты, сказали волостные мужики. Какая-нибудь мелочь вырастет. Хозяином себя будешь считать.

После того Пашка проводил свою жизнь в оврагах и на поверхности заросших мокрых пучин. Там ему было уютно, кругом его простиралась собственность, и он мог видеть насекомых, всецело принадлежавших ему.

В другой раз Пашка приобрел фруктовое дерево. Шел он мимо помещичьего сада и видит: ползет по дереву черный червь. Пашка испугался, что тот червь съест сначала одно дерево, а потом и весь благоухающий сад. А когда начнут пропадать сады, то государство ослабнет, а затем нагрянет какая-нибудь босая команда и отнимет у Пашки овраги и мочежинные владения.

Тогда Пашка пришел к помещику:

— Стефан Еремеевич! У тебя там на дереве черный червь явился: он тебе все фруктовые стволы сгложет — ты гляди!

— Ты говоришь, черный червь! — с задумчивым умом произносил Стефан Еремеевич. — Что это: флора или фауна? Черный червь! Так что же мне делать с ним? А вот что, Пашка, ты возьми то дерево, вырви его с корнем и тащи вон с поместья, а дома то дерево сожгешь. Но не смей червей ронять, смотри себе в след и подбирай червей в шапку!

Пашка изъясил из сада вредное дерево и перенес его к себе в овраг, где и вонзил в глину, желая, чтобы вырос собственный сад.

Но дерево умерло, и наступила революция. Неимущие стали мучить Пашку, как врага народа. Из оврага его сразу выгнали, чтобы он там не был.

И отправился тогда Пашка вдоль страны, дабы найти себе неизвестное место. По дороге он содрал с себя одежду, изранил тело и специально не ел: он уже заметил, будучи отсталым хищником, что для значения в Советском государстве надо стать худшим на вид человеком.

И действительно, его уважали сельсоветы.

— Вот, — говорили сельсоветы на Пашку, — идет наш сподвижник, угнетенный человек. Где ты, товарищ, существовал?

— В овраге, — отвечал Пашка.

Предсельсовета смотрел на Пашку со слезами на глазах.

— Поешь молочка с хлебцем, мы тебя в актив привлечем: нам весьма нужны подобные люди.

Пашка напивался, наедался и оставался.

В одной деревне его оставили заведовать кооперативом. Пашка увидел товары и пожалел их продавать: население все может поест и уничтожить, а что толку? Имущество всегда нужно поберечь: людей хватает, а материализма мало.

Из кооператива Пашку удалили. А он почел себя от этого происшествия недостаточно бедным, чтобы быть достойным Советского государства, и обратился в нищего. Больше всего он боялся остаться без звания гражданина, без смысла жизни в сердце.

Однако Пашку привлекли к суду, как бродягу и непроизводительного труженика, тратящего бесплатно пролетарскую еду. На суде Пашка сказал, что он ищет самого низшего

места в жизни, дабы революция его признала своей необходимостью. Теперь он хочет умереть, чтобы избавить государство от своего присутствия и тем облегчить его положение, тем более, что беднее мертвеца нет на свете пролетария.

Рабочий судья выслушал Пашку и сказал ему:

— Капитализм рожал бедных наравне с глупыми. С беднотою мы справимся, но куда нам девать дураков? И тут мы, товарищи, подходим к культурной революции. А отсюда я полагаю, что этого товарища, по названию Пашка, надо бросить в котел культурной революции, сжечь на нем кожу невежества, добраться до самых костей рабства, влезть под череп психологии и налить ему во все дырья наше идеологическое вещество...

Здесь Пашка вскрикнул от ужаса казни и лег на пол, чтобы загодя скончаться. Но за него вступилась дамочка, помощница судьи:

— Так нельзя пугать бессознательного. Следует его сначала пожалеть, а уж потом учить. Вставай на ноги, товарищ Пашка, мы тебя отдадим в мужья одной сознательной бабочке, она тебя с жалостью будет учить быть товарищем и светлым гражданином, потому что ты рожден капиталистическим мраком.

С тех пор Пашку отдали бабе в мужья, и он, из страха перед ней, стал жить сознательным тружеником, благодаря свою судьбу и советскую власть, в руках которой эта судьба находится.

Начиная с того светлого судебного момента и доныне Пашка все время лез в гору и дошел до поста председателя колхоза — настолько в нем увеличилось количество ума благодаря воздействию сознательной супруги.

И в районе Пашку тоже высоко ценили, как низовую пружину, жмущую бедные и средние массы вперед; он же сам все более тосковал, что не знает всей научности на свете, и собирался поехать учиться после пятилетки.

Я прожил в колхозе «Утро человечества» очень долго: я был свидетелем ярового сева на 140% от плана и участником трех строителей — прудовой плотины, семенного амбара и силосной башни.

После каждого очередного успеха Пашка выступал на собрании колхоза и провозглашал приблизительно одну и ту же тему:

— Я — товарищ Пашка — со всеми вами, бедняками и товарищами, добьюсь того, чтобы в СССР никогда не смолкал рев гудков индустриализации, как над британским империализмом никогда не заходит солнце. И дальше того: мы добьемся, чтобы дым наших заводов застил солнце над Британией!. Мы должны в будущем году взять какой-нибудь героический завод, дабы полностью снабжать его из нашего колхоза пшеничным зерном, — пусть наш рабочий товарищ оставит черный кислый хлеб и кушает наш первый первач! Это говорю я — товарищ Пашка!..

Дожив близ Пашки до начала осени, полюбив его до глубокой дружбы, ибо он был живым доказательством, что глупость есть лишь преходящее социальное условие, я все же в один светлый день подал ему руку на прощание и поехал в уральские степи.

— Езжай куда хочешь, — сказал мне Павел Егорович. — Все мы кипим в одном классовом котле, и сок твоей жизни дойдет до меня.

Расставаясь с товарищами и врагами, я надеюсь, что коммунизм наступит скорее, чем пройдет наша жизнь, что на могилах всех врагов, нынешних и будущих, мы встретимся с товарищами еще раз и тогда поговорим обо всем окончательно.